Владислав Надточий

ГОСУДАРЕВЫ ЛЮДИ

Чёрное знамя



18+

Владислав Надточий

Государевы люди. Чёрное знамя

«Автор»
2026

Надточий В. Д.

Государевы люди. Чёрное знамя / В. Д. Надточий — «Автор», 2026

Покушение готовится. Убийцы уже выбрали момент для удара. Но никто не знает, кто станет жертвой. И сколько людей погибнет, прежде чем прозвучит первый выстрел.Россия, 1907 год. Империю сотрясают взрывы, политические убийства и тайные заговоры. Капитан Ведерников поступает на службу в жандармский корпус, не подозревая, с чем ему предстоит столкнуться.Похищенная взрывчатка. Загадочные письма. Люди, скрывающиеся под чужими именами. И чёрное знамя, появление которого предвещает новые преступления.Следствие приводит Ведерникова к опасным открытиям. Чем ближе разгадка, тем труднее отличить врага от союзника. Одно неверное решение может стоить десятков жизней.Кто готовит покушение? Почему все попытки выйти на след заговорщиков оборачиваются новыми загадками? И кому можно доверять, когда даже собственное начальство что-то скрывает?До рокового дня остаётся всё меньше времени. Но Ведерников до сих пор не знает самого главного...

© Надточий В. Д., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог 6
Глава 1 7
Пресня 7
Глава 2 15
Голубой мундир 15
Глава 3 21
Кафе на Морской 21
Глава 4 27
Жорж 27
Глава 5 33
Калязин 33
Глава 6 38
Минёр 38
Конец ознакомительного фрагмента. 41

Владислав Надточий
Государевы люди. Чёрное знамя

ГОСУДАРЕВЫ ЛЮДИ
ЧЁРНОЕ ЗНАМЯ
Надточий В. Д.

Пролог

Пятнадцать шагов. Ведерников знал это расстояние лучше, чем дорогу к собственному дому. На учениях он попадал в пуговицу мундира; под Мукденом стрелял, когда земля вздрагивала от разрывов. Сейчас же его пуля врезалась в деревянную бочку, едва не задев плечо человека в чёрной флотской шинели.

Капитан выругался сквозь зубы. Дым стлался между перевёрнутыми телегами и бочками. На мостовой хрустело стекло. За баррикадой надрывался свисток. Следом послышались тяжёлые, сбивчивые шаги солдат.

Человек в шинели повернулся к нему лицом. Ему было лет тридцать. Коротко остриженные волосы намокли от снега; светлые глаза смотрели прямо на Ведерникова, без испуга и без удивления. Так смотрят на того, кого ждали к назначенному часу.

— Уходите! — крикнул капитан. Крик был обращён ко всем, кто ещё оставался за баррикадой.

Незнакомец не двинулся. За его спиной девушка в беличьей шубке пыталась поднять упавшего студента. Тот лежал лицом вниз и не отвечал. Человек в шинели держал поднятую руку, подавая знак тем, кто укрывался за телегами. Стрельба на мгновение стихла.

Ведерников снова навёл револьвер. Теперь он отчётливо видел мушку, шов на воротнике шинели и мокрую прядь у виска незнакомца. Промахнуться было невозможно.

Незнакомец опустил руку. Грянул залп. Девушка вскрикнула и бросилась на колени возле студента. Капитан нажал на спуск. Пуля снова ударила в бочку. Незнакомец даже не пригнулся. Лишь коснулся двумя пальцами виска — почти учтиво, словно прощался со старым знакомым.

Потом он схватил девушку за руку и потянул к воротам дома за баррикадой. Она сопротивлялась, оборачивалась к лежащему студенту. Незнакомец что-то сказал ей, и она побежала следом. Через мгновение оба исчезли во дворе.

Ведерников бросился было за ними, но с той стороны баррикады уже кричали: «Ложись!» Он пригнулся за бочкой. Над головой засвистели пули. Когда стрельба стихла и капитан вышел на мостовую, двор уже опустел.

Два выстрела с пятнадцати шагов. Два промаха. И человек, который мог приказать стрелять в него, но вместо этого увёл девушку.

Позднее Ведерников не раз вспомнит светлые глаза и странный жест у виска. Но самый неприятный вопрос возник уже тогда, среди дыма и разбитого стекла: почему незнакомец не воспользовался своим преимуществом?

Часть первая. Коробка конфет

Глава 1

Пресня

Чужое письмо не давало Ведерникову покоя. Он знал адрес наизусть, хотя ни разу не бывал на той улице.

Через всю Россию Ведерников вёз два конверта. Первый — большой, серый, прошитый суровой ниткой и скреплённый пятью сургучными печатями — лежал во внутреннем кармане шинели, у самого сердца. За него капитан отвечал головой. Второй, маленький и мятый, с корявым адресом, написанным химическим карандашом, он держал в кармане гимнастёрки. За это письмо Ведерников отвечал только перед самим собой. И оно было тяжелее.

На маленьком конверте было написано: «Москва, Пресня, Нижняя Прудовая, дом Губанова, во двор, Марье Тихоновне Сорокиной, матери». Слово «матери» было подчёркнуто два раза.

Письмо написал Иван Сорокин, рядовой Девятнадцатого Восточно-Сибирского стрелкового полка. До Читы Ведерников с ним не встречался; там их посадили в один вагон. Вагон был санитарный, но санитаров в нём не оказалось: они разбежались ещё в Иркутске, а может, их и не было никогда. Дорога стояла. Забастовщики держали станции, солдаты, возвращавшиеся из Маньчжурии, держали эшелоны, и где кончались одни и начинались другие, не мог сказать никто. На станциях поезд простаивал по суткам, а порой и по двое, и непременно находился кто-нибудь, кто выходил на перрон произнести речь. Ведерников речей не слушал. Он сидел у окна, держал руку на груди, на сером конверте, и смотрел на снег.

Сорокин лежал на соседней полке. Под Мукденом ему прострелили лёгкое. За полгода рана затянулась, но от холода и дорожной тряски открылась снова. Он кашлял в серую тряпку, которую поспешно прятал от капитана. Тот всё видел. На четвёртый день, где-то за Красноярском, Сорокин спросил:

— Ваше благородие, вы через Москву?

— Через Москву.

— А Пресню знаете?

— Нет.

— Не беда, — сказал Сорокин. — Её все знают. Спросите любого извозчика, где Прохоровская мануфактура. Мы за ней живём. Там пруды, и мы за прудами.

Сорокин достал из-под шинели письмо. Адрес был написан давно: карандашные буквы на сгибах почти стёрлись. Ведерников понял, что солдат носил конверт с собой ещё с Мукдена.

— Я сам довезу, — сказал Сорокин. — Это я так. На всякий случай.

— Довезёшь сам, — согласился Ведерников, но письмо всё-таки взял.

Сорокин умер в ночь на седьмое декабря, под Самарой. Во сне он повернулся лицом к стенке и больше не проснулся. На станции Кинель его сняли с поезда и положили в холодный пакгауз рядом с двумя другими умершими. Станционный жандарм, пожилой, с распухшими от мороза пальцами, переписал его фамилию в книгу. Ведерников стоял рядом и смотрел, как жандарм выводит буквы. Тот работал медленно, без завитушек, проговаривая каждое слово одними губами.

— Родным сообщат? — спросил Ведерников.

— Кто? — Жандарм смотрел без грубости, с любопытством, будто капитан знал что-то, чего не знал он сам.

Ведерников промолчал. На следующий день поезд двинулся дальше, а письмо так и осталось у него в кармане.

* * *

Большой серый конверт ему вручил в Харбине подполковник Глинский.

Это было в конце октября, ещё до манифеста, в тот вечер, когда в офицерском собрании последний раз ставили любительский спектакль. Давали «Женитьбу», и Варя гримировала Подколесина, толстого интендантского капитана, а Ведерников стоял за кулисой и смотрел, как она работает. Она наносила клей тонким слоем, ждала, пока он станет липким, прикладывала прядь, прижимала пальцем и считала про себя до десяти. Губы у неё при этом шевелились. Интендант сидел смирно, как на исповеди.

— Гриша, — сказала Варя, не оборачиваясь, — тебя ищут.

Ведерников обернулся. В проходе стоял Глинский. Шинель была наброшена на плечи; в руке он держал новые золотые часы с гравировкой на крышке. Их подарили ему офицеры штаба после Ляояна, и с тех пор при каждом удобном случае доставал их, любовался и снова прятал. Варя говорила, что он не время по ним смотрит, а проверяет, на месте ли он сам.

— Пойдёмте, капитан, — сказал Глинский. — Пройдёмся.

Они шли по Пристани мимо закрытых лавок и китайских фонарей. Из казармы доносилась протяжная солдатская песня. Глинский молчал, пока не дошли до реки. Сунгари уже затягивало у берегов тонкой серой коркой.

— Мне нужен человек, который доставит пакет в Петербург, — сказал Глинский. — В штаб Отдельного корпуса жандармов, на Фурштатскую, в собственные руки начальнику штаба. Курьерам я не верю, почте тем более. Дорога, вы знаете, какая.

— Знаю.

— Мне нужен человек, который в дороге не пьёт, не играет в карты, не произносит речей и не слушает чужих. А главное — довозит порученное до места.

— А что в пакете?

— Вам знать не нужно.

— Тогда зачем вы мне это говорите?

Глинский чуть улыбнулся.

— Потому что вы спросили. Другой бы не спросил. Другой бы сказал «слушаюсь» и пошёл собирать чемодан. А вы спросили и не обиделись, когда я не ответил. Это редкость, капитан. Я вашу роту под Ляояном помню. Вы не самый храбрый офицер в полку, но вы единственный, кто считал патроны.

— Это не одно и то же, — сказал Ведерников.

— Не одно, — согласился Глинский. — Одно из этого полезнее.

Глинский вынул из-под шинели серый конверт. Ведерников принял его. Конверт оказался неожиданно тяжёлым.

— А Варя? — спросил он.

— Варвара Николаевна останется здесь. Вы вернётесь через два месяца. Если дорога позволит, через полтора. Я за ней присмотрю, — сказал Глинский и добавил, помолчав: — Не беспокойтесь, капитан. Я был у вас шафером. Это обязывает.

Варя проводила его на вокзал. На морозе она куталась в белый пуховый платок, который он купил ей в Мукдене у старого китайца, торговавшегося три часа. По перрону шёл жандарм в голубом мундире, дежурный по станции, высокий, прямой, с рыжими бакенбардами. Варя посмотрела на жандарма, потом на мужа и засмеялась.

— Гриша, вот ты будешь такой, — сказала она. — Голубой и с бакенбардами. Тебе пойдёт.

— Бог с тобой, Варенька.

— А что? Ты же у меня всё время всё замечаешь. Только никому не говоришь. Им как раз такие и нужны.

Поезд тронулся. Ведерников не отходил от окна, пока белый платок не скрылся из виду.

* * *

Пятнадцатого декабря, в половине шестого утра, поезд прибыл на Рязанский вокзал. Едва ступив на платформу, Ведерников понял: до Петербурга ему сегодня не добраться.

Над Каланчёвской площадью стоял дым. Не обычный зимний дым большого города — сизый, печной, ленивый, — а другой: бурый, стелющийся низко. Его запах Ведерников узнал сразу: за год войны он запомнил его лучше запаха собственной шинели. Так пахнет, когда горит дерево, в котором прячутся люди.

У вокзала стояли солдаты. Напротив, на ступенях Николаевского, виднелись другие. Между ними простиралась заснеженная площадь, где на боку лежал извозчичий мерин, ногами к Рязанскому вокзалу. Сани были опрокинуты. Извозчика не было.

— Куда вы, ваше благородие? — крикнул Ведерникову какой-то фельдфебель с винтовкой. — Назад! Тут бьют!

— Кто бьёт?

— А все бьют. — Фельдфебель махнул рукой в сторону Садовой. — Ихние с крыш. Наши по крышам. Третий день.

Ведерников вернулся в вокзал. Там, в зале первого класса, превращённом в казарму, на скамьях спали солдаты, а у опустевшего буфета пожилой полковник с подвязанной щекой пил чай из жестяной кружки. Ведерников представился и показал пакет. Полковник посмотрел на пять сургучных печатей и вздохнул.

— Николаевская дорога работает, капитан, — сказал он. — Это вам повезло. Вчера пришёл гвардейский полк из Петербурга. Семёновцы. Поезда ходят туда и обратно, но пассажирских нет. Только воинские и только по приказу. Ближайший пойдёт обратно, может, послезавтра, может, через три дня. Вас посадят, с таким пакетом посадят. А пока живите здесь. Скамей хватит.

— А в город можно?

Полковник опустил кружку на стол.

— А зачем вам в город?

Ведерников помедлил. Можно было не отвечать. Сесть на скамью и ждать три дня, не выпуская из виду серый пакет. Глинский остался бы доволен.

— У меня письмо, — сказал он. — Матери одного солдата. На Пресню.

Полковник долго смотрел на него.

— На Пресню, — повторил он. — Вы газеты читали, капитан?

— Я ехал из Харбина двадцать шесть дней.

— Вот и я о том же. — Полковник взял кружку, посмотрел в неё и снова поставил. — Пресня, капитан, это сейчас не Москва. Это отдельная держава. У них там своя власть, свои дружины, свои баррикады через каждые сто шагов, свой революционный суд. Вчера они расстреляли двух сыщиков. Прямо у Горбатого моста. А завтра, надо полагать, семёновцы пойдут их выкуривать, и артиллерия уже подтягивается. Письмо ваше там сейчас никому не нужно. Завтра отсюда столько писем понадобится послать, что не перечесть. Да только писать их будет некому.

— Я понимаю, — сказал Ведерников.

— Ничего вы не понимаете, — устало сказал полковник. — Вы только с войны, капитан. А на войне хотя бы знаешь, где немец. Японец, разумеется, простите. Здесь японцев нет. Здесь наши с нашими. Мальчишки, гимназисты, фабричные, курсистки с браунингами. Пальнут из подворотни и бегут. А потом их же матери выходят и просят солдат не стрелять. — Он помолчал. — Подождите хотя бы, пока там кончится. Дня три.

— Хорошо, — сказал Ведерников. — Подожду.

Ведерников остался на вокзале. Но на следующий день ждать больше не смог.

* * *

Шестнадцатого вечером над Пресней стало светло. Небо на западе сделалось оранжевым, потом красным, потом опять оранжевым, и по нему гуляли чёрные хлопья, как вороны. Солдаты на ступенях вокзала смотрели туда и крестились. Говорили, что горит фабрика Шмита, мебельная, которую дружинники превратили в крепость. Говорили, что Шмит, хозяин, молодой и богатый, сам дал им денег на оружие и сам теперь сидит в Бутырках. Говорили, что артиллерия бьёт по Прохоровке и что там внутри женщины и дети. Говорили разное, и никто ничего не знал.

Ведерников смотрел на зарево и думал о Марье Тихоновне, матери Сорокина. Он представлял себе её очень ясно, хотя никогда не видел: маленькая, в чёрном платке, с руками, которые всю жизнь мяли прохоровский ситец. Она стоит у окна в доме Губанова, во дворе, и смотрит, как горит фабрика, где она работала, и думает, что Ваня скоро вернётся. Ваня писал ей из Мукдена, что ранен легко. Это Ведерников знал, потому что Сорокин сам ему рассказал. «Я ей написал, что пустяк, — сказал он тогда, кашляя в тряпку. — Чтобы не убивалась».

Утром семнадцатого он покинул вокзал, так и не спросив разрешения у полковника с подвязанной щекой.

* * *

Москву он помнил по кадетским годам лишь отрывочно и потому шёл наугад. По Садовой, мимо пустых трамвайных путей, мимо разбитых фонарей, мимо поваленных телеграфных столбов, которые лежали поперёк улицы, как спиленный лес. Город был тихий и страшный. Окна закрывали ставнями, а там, где их не было, закладывали проёмы подушками и тюфяками. Над воротами кое-где висели белые тряпки. Один раз из-за угла выехал казачий разъезд, четверо, с шашками наголо, и старший, увидев офицера в армейской шинели, придержал коня.

— Куда, ваше благородие?

— На Пресню.

Казак посмотрел на него так же, как полковник на вокзале, только короче.

— Там семёновцы, — сказал он. — Пушки с утра бьют. Не ходили бы.

— Мне надо.

Казак пожал плечами, тронул коня и поехал дальше.

Чем ближе к Пресне, тем громче становились пушки. Сначала они были похожи на дальний гром, потом на удары огромным молотом по наковальне, потом по самой голове. Ведерников знал этот звук. Он слышал его под Ляояном, когда японская артиллерия три дня била по сопке, которую держал их полк, и на третий день у него в роте осталось сорок восемь человек из ста девяноста. Но тогда он знал, что по нему бьют японцы. Здесь он шёл по Москве, мимо булочной Филиппова с заколоченной витриной, мимо церкви, из которой как раз выходил батюшка с чашей, а пушки били по русским домам, и он не мог понять, кто из них свой.

У Кудринской площади его остановил патруль. Молоденький подпоручик Семёновского полка, в новенькой шинели с гвардейскими петлицами, бледный, с покрасневшими от бессонницы глазами, потребовал документы и, прочтя, вернул их с явным облегчением.

— Слава богу, армеец, — сказал он. — А я думал, переодетый. Они тут в офицерских шинелях ходят, знаете? Вчера двоих наших так подстрелили. Подходит, честь отдаёт, а потом из кармана браунинг. Вам куда?

— На Нижнюю Прудовую.

— Это за Горбатым мостом. — Подпоручик посмотрел на него с недоверием. — Там их последние баррикады. Капитан Р. с ротой сейчас там. Если пойдёте, держитесь домов и не высовывайтесь. И ради бога, снимите шапку. У вас кокарда, видно издалека.

Ведерников снял шапку и сунул её за пазуху, туда, где лежал серый конверт. Теперь за пазухой теснились шапка, конверт и письмо. Казалось, всё это весило больше, чем он сам.

* * *

Баррикада была сложена из того, что нашлось во дворах: телеги, бочки, ворота, сорванные с петель, вывеска «Бакалея и колониальные товары Кузьмина и сыновей», чья-то железная кровать с шишечками, пианино. Пианино лежало на боку, крышкой к солдатам, и Ведерников потом долго вспоминал, что из него, когда в него попадали пули, вылетал короткий, жалобный звук, будто кто-то по ошибке задевал клавишу.

Он вышел к ней сбоку, по Прудовой, из переулка, и сразу понял, что прошёл не туда. Семёновцы были впереди, шагах в двухстах, за углом каменного дома, и оттуда стучали винтовки. Баррикада была между ним и семёновцами, а он оказался почти за её спиной. Прямо у него перед глазами, шагах в тридцати, за телегами и пианино лежали и сидели человек десять. Фабричные в ватных куртках, двое мальчишек в гимназических фуражках, студент без шапки, с длинными волосами, которые он то и дело откидывал со лба. Одна женщина. Нет, девушка, совсем молодая, в беличьей шубке и меховой шапке, с маленьким браунингом в руке, держала его так, как держат зонтик.

И ещё один, которого Ведерников увидел последним, потому что тот единственный не двигался.

Этот стоял на коленях у края баррикады, у бочки, и смотрел в щель между бочкой и телегой. На нём была чёрная флотская шинель без погон, с тёмными пятнами на плечах там, где погоны были раньше. Голова непокрыта, волосы коротко стрижены. Ему было лет тридцать; на баррикаде он один не суетился. Время от времени он что-то коротко говорил, не оборачиваясь, и кто-нибудь из фабричных перебегал с места на место. Один раз он поднял руку, ладонью вниз, и все легли, и через секунду по баррикаде прошла пулемётная очередь, и пианино снова жалобно звякнуло.

«Офицер», — подумал Ведерников. Скорее узнал, как узнают земляка по походке. Так распоряжаться людьми под огнём умеют только те, кого этому учили, и учили хорошо. Флотский. Минёр, наверное, или артиллерист: у них такое спокойствие, у тех, кто привык работать с вещами, которые взрываются.

Ведерников прижался спиной к стене дома и стоял не дыша. Его не видели. Все смотрели вперёд, туда, где были солдаты. У него в кобуре был наган, семь патронов, а в кармане ещё четырнадцать. Он был капитаном русской армии, а эти люди стреляли в её солдат. Казалось бы, всё ясно. Но он стоял, и рука его не шла к кобуре, потому что в кармане гимнастёрки у него лежало письмо, на котором было написано «Нижняя Прудовая, дом Губанова», и он вдруг увидел дом с жестяной табличкой «Д. Губановъ» прямо у себя за спиной, через улицу, за баррикадой. Деревянный, двухэтажный, с покосившимися воротами. Во двор.

И в этот момент из-за угла каменного дома вышли семёновцы.

Их было человек двадцать, они шли цепью, пригнувшись, и впереди шёл офицер с шашкой в одной руке и револьвером в другой. Позже Ведерников тщетно пытался вспомнить его лицо. Помнил только, что офицер был высокий, худой и шёл очень прямо, будто на параде, и что шашку держал неправильно, слишком высоко.

Человек во флотской шинели поднял руку. Все на баррикаде замерли.

Ведерников знал, что сейчас будет. В Маньчжурии он видел такое не раз. Цепь подойдёт на сто шагов, на восемьдесят, на пятьдесят. Тогда человек в шинели опустит руку, и баррикада ударит залпом, в упор, и офицер с шашкой упадёт первым, потому что он идёт впереди и прямо.

Он вытащил наган.

Он не думал. Если бы он думал, он сказал бы себе, что сейчас выстрелит и обнаружит себя, что стоит за спиной у десятерых вооружённых людей и что жить ему после этого выстрела останется секунды три. Он ничего себе не сказал. Он поднял наган, положил ствол на левую руку, как учили в корпусе, и прицелился в спину человеку во флотской шинели.

Пятнадцать шагов. Он измерил это расстояние потом, вернувшись туда через год. Пятнадцать шагов, от стены дома до бочки. С такого расстояния он не промахивался ни в училище, ни в Маньчжурии. Промах казался немыслимым.

Он выстрелил, и пуля ударила в бочку, в полувершке от плеча флотского, и выбила из неё щепку.

Человек во флотской шинели обернулся.

Он не вскочил и не бросился в сторону — лишь медленно повернул голову, словно его окликнули, и посмотрел на Ведерникова. Ведерников видел его лицо ясно, как видишь лицо собеседника за столом: худое, тёмное от загара, который бывает только у моряков, с короткими усами и светлыми, совсем светлыми глазами. Глаза эти смотрели на него без страха и без злобы. С интересом. С тем самым искренним интересом, с каким станционный жандарм в Кинеле спросил его: «Кто?»

Ведерников снова взвёл курок. Палец лёг на спуск. И тут человек во флотской шинели, не сводя с него глаз, сделал одну вещь, которую Ведерников потом не мог забыть много лет. Он опустил поднятую руку.

Баррикада ударила залпом.

Ведерников не видел, что было впереди. Он видел только, как девушка в беличьей шубке, стоявшая на коленях у пианино, вдруг откинулась назад, будто кто-то толкнул её в грудь, и тут же поднялась снова и бросилась вперёд, к студенту, который лежал теперь на снегу лицом вниз и уже не мог откинуть волосы со лба. Она закричала. Ведерников не разобрал, что. Имя, кажется. Короткое имя.

Он выстрелил снова. Пуля опять ударила в бочку.

Флотский всё ещё смотрел на него. Потом поднёс два пальца к непокрытой голове, к тому месту, где у него раньше был козырёк фуражки, коротко, как отдают честь на корабле старшему по званию, повернулся и пошёл прочь, вдоль баррикады, пригибаясь. На ходу он нагнулся, схватил девушку в беличьей шубке за руку, рывком поднял её от тела студента и потащил за собой, к воротам дома Губанова, во двор. Она упиралась и всё оглядывалась назад, на снег. Потом оба исчезли.

Через минуту на баррикаду полезли семёновцы.

* * *

Раздались крики, выстрелы. Сверкнули штыки. Всё кончилось быстро: у одной стороны были выучка и штыки, у другой — решимость, которой оказалось мало. Человек пять с баррикады убежали дворами. Троих взяли. Остальные остались лежать. Студента унесли на шинели в каменный дом. Девушки в беличьей шубке, конечно, не было ни среди убитых, ни среди взятых.

Офицер с шашкой был жив. Ведерников видел, как он стоит посреди улицы, прижимая к щеке платок, и что-то говорит своим солдатам, высоко подняв голову. Платок уже пропитался кровью.

Ведерников вложил наган в кобуру, достал шапку из-за пазухи, надел её и пошёл через улицу к дому Губанова. Его никто не остановил. Никому не было до него дела. Он прошёл через ворота, через двор, где на снегу лежала дохлая кошка и валялись пустые гильзы, и поднялся по скрипучей лестнице на второй этаж, потому что больше идти было некуда.

Дверь была открыта. В комнате, маленькой, с низким потолком, с иконой в углу и геранью на окне, сидела на сундуке старуха в чёрном платке. Когда он вошёл, она не встала. На коленях лежали большие, тёмные руки с распухшими суставами. Пальцы беспрестанно мяли подол, разглаживали его и снова мяли.

— Марья Тихоновна Сорокина? — спросил Ведерников.

— Я, — сказала старуха.

— Я от Ивана.

Она подняла на него глаза и долго смотрела. Потом спросила:

— Живой?

Ведерников не ответил. Он достал из кармана гимнастёрки мятый конверт, надписанный химическим карандашом, и протянул ей. Она взяла конверт, но не открыла. Положила на колени, на руки, и руки перестали шевелиться.

— Тут сейчас человек проходил, — сказала она, глядя на конверт. — Флотский. С барышней. Через двор, через задний ход, на огороды. Барышня плакала. Ты его, что ли, ищешь?

— Нет, — сказал Ведерников.

— Он мне сказал: «Мамаша, сидите тихо, сейчас будет офицер, он вам ничего не сделает». — Старуха снова посмотрела на него. — Я думала, он про солдатского. А он, выходит, про тебя.

Ведерников молчал.

— Он, когда Ваньку брали на войну, тоже вот приходил, — сказала старуха. — Не этот. Другой. Тоже офицер. Говорил: «Мамаша, ничего с ним не будет, он вернётся героем». — Она погладила конверт ладонью. — Ты посиди, сынок. Ты не уходи пока. Я одна читать не умею.

Он сел на табурет и прочитал ей письмо. Письмо было короткое. Иван писал, что ранен пустяково, что кормят хорошо, что капитан у них строгий, но справедливый, что скоро война кончится и он приедет и пусть мамаша не продаёт швейную машину, он сам её починит. В конце было написано: «Остаюсь ваш любящий сын Иван Сорокин». И приписано другим карандашом, видно, позже, в госпитале: «Мамаша, не убивайтесь, если что».

Старуха выслушала письмо до конца. Кивнула, сложила листок, спрятала его за икону и перекрестилась. Ведерников так и не увидел у неё слёз.

— Капитан строгий, но справедливый, — повторила она. — Это ты, что ли?

— Нет, — сказал Ведерников. — Не я. У него был другой капитан. Я просто ехал с ним в одном вагоне.

Он сказал правду, хотя и сам не понимал, почему так хотел, чтобы старуха ему поверила.

* * *

Двадцатого декабря он сел в воинский поезд на Николаевском вокзале. В вагоне третьего класса, с выбитым стеклом, заложенным подушкой, ехали раненые семёновцы, и один из них, молоденький солдат с перевязанной головой, всю дорогу рассказывал соседу, как они брали Прохоровку и как он своими глазами видел, что там, на фабрике, был какой-то флотский, бывший офицер, говорят, с броненосца, говорят, с японского плена, который учил фабричных делать бомбы из жестянок от монпансье. И что его так и не поймали. Ведерников слушал, отвернувшись к окну.

На Фурштатской, в штабе Отдельного корпуса жандармов, он сдал серый конверт под расписку немолодому, страшно вежливому полковнику, который вскрыл его при нём, пробежал глазами первую страницу, вздохнул и сказал:

— Опоздали, капитан.

— Простите?

— Не вы опоздали. Мы опоздали. — Полковник сложил бумаги обратно в конверт. — Подполковник Глинский пишет о том, что будет в Москве. Утверждает, что знает, кто готовит выступление, и предупреждает: арестуй этих людей в ноябре — декабрьских событий не будет. Писал он это шестого октября. — Полковник снова вздохнул. — Вас благодарят, капитан. Распишитесь вот здесь.

Ведерников расписался. Полковник посмотрел на его подпись, на ровные буквы без единой завитушки, и чему-то усмехнулся.

* * *

Через месяц, уже в Харбине, ему попалась московская газета, привезённая кем-то из отпускных. На четвёртой странице, среди происшествий, напечатали короткую заметку: на

Сухаревой площади среди бела дня неизвестный застрелил городового Мещанской части. Неизвестный был в чёрном пальто, роста высокого, на вид лет тридцати. Стрелял с пятнадцати шагов. Скрылся.

Ведерников перечитал заметку, сложил газету и долго сидел, не поднимая глаз от стола.

— Что ты, Гриша? — спросила Варя.

— Ничего, Варенька. Промахнулся я.

— Где?

— В Москве.

Она подошла сзади, положила ладони ему на плечи. Руки пахли спирт-лаком. Она весь вечер клеила бороды для нового спектакля.

— Все промахиваются, — сказала она. — Ты же мне сам говорил, что на войне на одну пулю, которая попала, приходится сто, которые ушли в небо.

— Я не в небо промахнулся, — сказал Ведерников. — Я в бочку.

Варя вопросительно посмотрела на него, но он промолчал.

Он долго вспоминал тот выстрел. Со временем воспоминание притупилось. Но в апреле 1907 года, уже в Петербурге, оно вновь настигло его.

Глава 2

Голубой мундир

Мундир прислали от портного в пятницу, тринадцатого апреля 1907 года, в половине одиннадцатого утра, но Варя ещё полчаса не позволяла мужу его примерить.

Она разложила мундир на кровати: в меблированных комнатах госпожи Цвиринг на Пятой Рождественской не было стола, на котором он поместился бы целиком. Варя обошла кровать, остановилась и залюбовалась обновкой.

— Гриша, а почему говорят «голубые», если он синий?

— Не знаю, Варенька. Так говорят.

— Нет, ты подумай. Может быть, это потому, что в старину был голубой? Или потому, что у вас воротник светлый? Нет, воротник тоже синий. Значит, это от души.

— От какой души?

— От голубиной, — сказала Варя и засмеялась. — Вы же все кроткие, как голуби. Ты подумай, сколько народу вас любит.

Ведерников промолчал. Стоя у окна, он выпускал дым в форточку: госпожа Цвиринг не терпела табака и грозила штрафом. За окном шумела улица. По Пятой Рождественской шёл точильщик с колесом на плече и кричал: «Точить ножи, ножницы!» Дворник в белом фартуке гнал метлой по мостовой серую апрельскую воду. Через два дома, в мелочной лавке, приказчик вешал над дверью новую вывеску. Обычная улица, обычное утро.

Вчера он видел из окна двух студентов. У подъезда они заметили его, ещё в армейском мундире, и один нарочно громко сказал другому: «Смотри, новый голубой. Пахнет свежей краской». Оба засмеялись. Откуда они узнали, Ведерников не понял. Варя говорила, что у него это на лбу написано: что он всё замечает и никому не говорит.

— Примерь, — попросила Варя. — Ну же, хочу посмотреть.

Ведерников надел мундир. Он сидел безупречно: портной с Литейного знал своё дело. Варя застегнула крючки на воротнике, поправила аксельбант и отступила на два шага. Она наклонила голову набок, как перед выходом на сцену разглядывала загримированного актёра.

— Ну? — спросил он.

— Бакенбардов не хватает, — серьёзно сказала она. — Помнишь, я тебе в Харбине говорила? Я тебе приклею, хочешь? У меня остались от Подколесина.

— Не надо, Варенька.

— Тогда так. — Она подошла и обняла его, осторожно, чтобы не смять. От неё пахло спирт-лаком и ландышами. — Тебе идёт, Гриша. Правда. Ты в нём как будто прямее стал.

В новом мундире он чувствовал себя чужим, будто надел не свою одежду и ждал, что хозяин вот-вот потребует её обратно. Варе он об этом не сказал. Она, кажется, и так догадалась.

* * *

От армейского капитана до жандармского ротмистра он шёл год и три месяца. Почти всё это время он чего-нибудь ждал.

Сначала ждал в Харбине, когда отправят полк. Полк отправили летом шестого года, а его самого задержали ещё на три месяца при ликвидационной комиссии — вести учёт того, что осталось от армии: сапог, патронов, лошадей, людей. Людей считать было хуже всего. Потом ждал в Ярославле, у старой тётки, когда решится дело о переводе, а дело не решалось, потому что в корпус брали неохотно, с разбором, и надо было сдать экзамен, а к экзамену надо было пройти курсы, а на курсы надо было, чтобы кто-нибудь поручился. Поручился Глинский. Он к тому времени уже вернулся из Маньчжурии и служил в штабе корпуса на Фурштатской. Глин-

ский написал одно письмо в Ярославль, короткое: «Капитан, вы, помнится, считали патроны. Здесь их тоже надо считать. Приезжайте. С.Г.». И Ведерников приехал.

Курсы при штабе корпуса шли четыре месяца. Учили всему, что жандармскому офицеру положено знать, и многому, что знать не положено, но полезно. Уголовное право и уголовный процесс. Положение об охране. История революционного движения в России, с Пестеля до максималистов, с фамилиями, датами и программами партий, которых оказалось столько, что Ведерников завёл для них отдельную тетрадку и чертил в ней схемы, как чертил когда-то в Маньчжурии схемы японских позиций. Эсеры. Эсдеки, большевики и меньшевики. Бундовцы. Народные социалисты. Трудовики. Польские социалисты, разделившиеся на правых и левых. Латышские социал-демократы. Армянские дашнаки. Грузинские федералисты. И анархисты, которых в тетрадке Ведерникова было больше всех и которые не поддавались никакой схеме, потому что у них не было ни центра, ни программы, ни руководителей, а были только группы, по пять, по десять человек, с названиями, от которых рябило в глазах: «Чёрное знамя», «Безначалие», «Хлеб и воля», «Интернационал», «Бунт», «Анархия», «Безвластие», «Свободная коммуна». И «безмотивники».

— А это что такое? — спросил он на одном из занятий лектора, старого седого ротмистра, который читал им революционное движение и про которого говорили, что он лично арестовывал Желябова.

— Это, капитан, самое скверное, — ответил ротмистр. — Обычный террорист убивает губернатора, или министра, или жандарма. Он считает, что губернатор виноват, и он ему мстит. Это, если хотите, понятная логика. Скверная, но понятная. С ней можно работать. Можно найти, кому он мстит, и поставить у этого человека охрану. А безмотивник убивает не губернатора. Он убивает буржуазию. Всю. Бросает бомбу в кафе, где сидят люди в хороших пальто, и ему всё равно, кто там сидит: банкир, приказчик или гимназистка с мамой. Он вам скажет, что в хорошем пальто невинных нет. — Ротмистр помолчал. — В Одессе, в декабре пятого, бросили бомбу в кафе Либмана. В Варшаве, в шестом, в гостиницу «Бристоль». В Екатеринославе, в Белостоке, в Киеве. Охраны от этого нет. Нельзя поставить городового в каждом кафе.

— А что можно?

Ротмистр снял очки и внимательно посмотрел на Ведерникова.

— Можно, капитан, знать заранее. Других способов нет. Только знать заранее. Всё остальное приходит потом, когда уже поздно. Как вы, кстати, говорите, ваша фамилия?

— Ведерников.

— Вы из Маньчжурии, Ведерников?

— Так точно.

— Заметно, — сказал ротмистр. — Вы задаёте вопросы так, будто вам и вправду нужен ответ. Здесь это редкость.

На экзамене было трое. Председательствовал генерал, начальник штаба корпуса, тот самый подчеркнуто вежливый полковник, которому Ведерников год назад передал серый конверт. За это время полковник стал генералом, но манер не переменил. Справа от него сидел седой ротмистр, читавший лекции, слева — Глинский.

Генерал спросил его о Положении об усиленной охране. Ведерников ответил. Ротмистр перешёл к программе Партии социалистов-революционеров. Капитан не запнулся и здесь. Потом Глинский, который всё это время смотрел в окно, повернулся и спросил:

— Капитан, что вы видели, когда шли сегодня сюда с Рождественской?

Генерал поднял брови. Ротмистр усмехнулся в усы.

Ведерников помедлил с ответом:

— На углу Суворовского и Восьмой Рождественской стоит извозчик с номером тысяча двести сорок. Он стоит там с половины девятого, я видел его утром, когда шёл за папиросами. Он ни разу не взял седока, хотя к нему подходили трое. Лошадь у него сытая, а сам он в хоро-

шем армяке и в сапогах, начищенных ваксой. Извозчики сапоги ваксой не чистят. Значит, это филёр охранного отделения, и он смотрит за домом номер семь, потому что смотрит всё время в его сторону и ни разу в другую. И ещё он видел меня, и ему не понравилось, что я на него посмотрел.

— Почему вы так думаете?

— Потому что он отвернулся, — сказал Ведерников. — Извозчики от офицеров не отворачиваются. Они кричат: «Пожалуйте, ваше благородие, прокачу».

Генерал покосился на Глинского. Тот по-прежнему смотрел в окно.

— Ну что ж, — сказал наконец генерал. — Подполковник, я понимаю, почему вы за него поручились. Я только не понимаю, кто его будет терпеть.

— Я, ваше превосходительство, — сказал Глинский, не оборачиваясь.

* * *

Штаб Отдельного корпуса жандармов занимал большой серый дом на Фурштатской, с колоннами и парадной лестницей. На каждой площадке висело зеркало; поднимавшиеся невольно замедляли шаг, чтобы поправить воротник или пригладить волосы. Ведерников посмотрелся тоже, на третьей площадке, и увидел там немолодого, сухого, коротко стриженного человека в синем мундире, с маньчжурским загаром, который так и не сошёл с лица за полтора года, и с выражением, которое он сам у себя не любил: будто человек этот ждёт, что его сейчас окликнут.

На четвёртой площадке его окликнули.

— Простите, вы к кому?

Это был ротмистр лет тридцати пяти, полный, румяный, гладко выбритый. Он держал в пальцах монокль на шнурке, не торопясь поднести его к глазу. Мундир был такой же, как у Ведерникова, но сидел иначе — словно ротмистр в нём родился.

— К подполковнику Глинскому.

— А-а. — Ротмистр поднял монокль, посмотрел сквозь него на Ведерникова, как смотрят в лорнет на лошадь, и опустил. — Вы, стало быть, тот самый армеец. Подполковник о вас рассказывал. Ротмистр фон Брандт, к вашим услугам. Вас, говорят, взяли за то, что вы умеете смотреть на извозчиков.

— Меня взяли за то, что я сдал экзамен, — сказал Ведерников.

— Ну разумеется, ну разумеется. — Брандт улыбнулся. Он улыбался любезно, но глаза оставались холодными. — Только вы, ротмистр, имейте в виду. Тот извозчик номер тысяча двести сорок, которого вы так блестяще описали господам экзаменаторам, служит не охранному отделению. Он служит мне. И дом номер семь по Восьмой Рождественской я веду уже третий месяц. А вы теперь его знаете, и он вас знает, и мне придётся его менять. Это стоит денег, ротмистр. Казённых денег.

— Я этого не знал.

— Вы многого не знаете. — Брандт снова поднял монокль. — Это не упрёк, ротмистр. Это, если хотите, дружеский совет. В армии вы видели неприятеля и стреляли в него. Здесь неприятеля не видно. А если вы его видите, значит, он хочет, чтобы вы его видели. Не всё, что вы замечаете, нужно говорить вслух. Особенно генералам. Честь имею.

Он поклонился и пошёл вниз, придерживая шашку. На третьей площадке он задержался у зеркала и пригладил волосы.

* * *

Небольшой кабинет Глинского был заставлен шкафами. Папки громоздились на подоконнике, занимали стулья и лежали стопками на полу. Сам Глинский сидел за столом, без мундира, в одной рубашке и жилете, и пил чай из стакана в мельхиоровом подстаканнике. Рядом на столе лежали раскрытые часы, золотые, с гравировкой.

— Садитесь, Гриша, — сказал он. — Если найдёте куда.

Ведерников снял с ближайшего стула стопку папок, переложил её на пол и сел.

— Уже познакомились с Брандтом?

— Познакомился.

— Он вам сказал про извозчика?

— Сказал.

— Он врёт, — спокойно сказал Глинский. — Извозчик охранный, Брандт к нему отношения не имеет. Брандт просто слышал, как вы отвечали, и решил поставить вас на место. Он всех новых так ставит. Меня тоже ставил, когда я сюда пришёл.

— И что вы?

— Я отправил ему на другой день коробку конфет от Жоржа Бормана и визитную карточку, на обороте которой написал номер извозчика, который возит Брандта к одной даме на Офицерскую по вторникам и пятницам. Больше он меня не ставил. — Глинский отпил чаю. — Вы так не сможете, Гриша, и не надо. Вы другой. Вы будете просто работать, и через год он сам начнёт с вами здороваться первым.

— А если не начнёт?

— Тогда вы будете работать ещё год. — Глинский захлопнул часы и убрал их в жилетный карман. — Как Варвара Николаевна?

— Хорошо. Ждёт квартиру.

— Ждёт квартиру, — задумчиво повторил Глинский. — Все ждут квартиру. Казённые квартиры в Петербурге дают раз в год по обещанию, и обещают всем. Я, однако, похлопочу. Вы ей сказали, что будет?

— Что будет?

— Что вы теперь не офицер, Гриша. Вернее, офицер, но такой, с которым в хорошем обществе не подают руки. Что вас будут ненавидеть люди, которых вы никогда не видели. Что в Маньчжурии вас ненавидели японцы, а здесь будут ненавидеть свои: студенты, курсистки, адвокаты, газетчики, присяжные поверенные. Все. Что в театре вам будут шипеть в спину, а в гостях, если вас позовут, будут замолкать, когда вы входите. Что жена жандарма никогда не будет своей ни в одном салоне. Вы ей это сказали?

— Она знает.

— Откуда?

— Она сама меня сюда послала, — сказал Ведерников. — Ещё в Харбине. Сказала, что мне пойдёт.

Глинский взглянул на него и неожиданно улыбнулся.

— Варвара Николаевна, — сказал он, — умнее нас обоих, вместе взятых. Это я знал ещё на свадьбе. — Он поставил стакан на подстаканник. — Ну хорошо. К делу. Официально, Гриша, вы числитесь в моём распоряжении, для особых поручений. Неофициально вы пока никто, потому что у вас нет ни агентуры, ни связей, ни опыта, и никто в этом доме не доверит вам серьёзного дела, пока вы не заслужите доверия. Поэтому первые два месяца вы будете сидеть здесь, у меня, и читать.

— Что читать?

Глинский обвёл рукой шкафы.

— Всё. Это дела по анархистам. С девятьсот третьего года. Северо-Западный край, Царство Польское, Юг, Москва и столица. Всё, что у нас есть. Здесь мало, Гриша, гораздо меньше, чем по эсерам, потому что анархистов никто толком не освещает: у них нет комитетов, нет съездов, нет кассы. Их невозможно освещать, к ним невозможно внедриться, потому что внедряться не во что. Сегодня их пятеро, завтра трое, послезавтра один, и тот застрелился. А потом через полгода в кафе бросают бомбу. Читайте, Гриша. Читайте и считайте патроны. Тут их надо считать.

— А что считать?

— Кто они. Откуда берутся. Кто их учит. Кто им даёт динамит и деньги. Кто их сводит. — Глинский встал, подошёл к окну и стал смотреть на Фурштатскую. — Есть у меня одна мысль, Гриша, но я вам её не скажу. Я хочу, чтобы вы сами до неё дошли. Если дойдёте, значит, я прав. Если нет, значит, я дурак, и мысль моя тоже.

* * *

Выйдя из кабинета Глинского, Ведерников столкнулся с человеком, чей запах запомнил лучше, чем лицо.

Человек этот был в штатском, в отличном сером сюртуке, сшитом явно не на Литейном, а где-нибудь на Морской, у французов. Невысокий, плотный, с аккуратной седеющей бородкой и с лицом таким спокойным и приветливым, какое бывает у хороших докторов и плохих священников. Он шёл по коридору медленно, держа под мышкой тонкую папку, и от него пахло фиалкой. Не одеколоном с запахом фиалки, а именно фиалкой, живой, как будто у него в петлице был букетик. Букетика в петлице не было.

Незнакомец оглядел Ведерникова, его новенький мундир и погоны, затем кивнул, как старому знакомому. Ведерников кивнул в ответ, хотя видел этого человека впервые. Тот прошёл мимо и постучал в дверь Глинского.

— Войдите, — послышалось изнутри.

— Сергей Андреевич, я на минуту, — сказал человек в сером сюртуке мягким, чуть глуховатым голосом. — По поводу нашего общего друга.

Дверь закрылась.

Ведерников спустился на третью площадку с зеркалом и лишь там спросил у пожилого вахмистра, сидевшего у лестницы на табурете с газетой:

— Кто это сейчас прошёл к подполковнику Глинскому? В штатском.

Вахмистр поднял глаза и долго смотрел, раздумывая, стоит ли отвечать армейцу в новеньком мундире. Потом сложил газету.

— Это, ваше благородие, подполковник Штейнгель. Евгений Карлович. Из Департамента.

— Из Департамента полиции?

— Так точно. — Вахмистр помолчал и добавил, понизив голос: — Они к нам часто ходят, ваше благородие. А мы к ним никогда.

* * *

Вечером он рассказал Варе об экзамене, извозчике, Брандте с моноклем и незнакомце с запахом фиалки. Варя слушала, сидя на кровати, поджав под себя ноги, и пришивала ему к шинели новые пуговицы, серебряные, с орлами.

— Брандт этот, — сказала она, откусывая нитку, — он смешной. Он как будто играет жандарма. Знаешь, как у нас в Харбине капитан Стрельцов играл Городничего. Всё время смотрел в зеркало, всё ли на месте. А потом забывал слова.

— А Штейнгель?

Варя задумалась.

— Не знаю, Гриша. Я его не видела. А фиалкой, знаешь, кто пахнет? У нас в госпитале был один доктор, военный, из Петербурга. Очень вежливый, очень обходительный. Всегда фиалкой пах. Говорили, что он пудру такую употребляет, чтобы перебить запах карболки. А потом выяснилось, что он морфий продавал. Из госпитальной аптеки, санитарам, а они дальше. — Она поднесла пуговицу к свету, посмотрела, хорошо ли пришита. — Его так и не судили. Перевели куда-то.

— При чём тут морфий?

— Ни при чём, Гриша. Ты спросил, кто пахнет фиалкой. Я тебе отвечаю.

Она пришила последнюю пуговицу, встряхнула шинель и повесила её на спинку стула. Потом вдруг заговорила весело:

— Знаешь что? Давай завтра пойдём в кафе. На Морскую, в новое, где цыгане по воскресеньям и пирожные с кремом. Вся Рождественская туда ходит. Отпразднуем твой мундир. Я надену серое платье, а ты надень голубое. То есть синее.

— Варенька, я в мундире в кафе не пойду.

— Почему?

— Потому что жандармам в кафе шипят в спину.

— Ну и пусть шипят, — сказала Варя. — Я им тоже пошиплю. Я, знаешь, как умею? — Она сморщила нос и зашипела, как кошка, и он засмеялся, первый раз за этот день.

— Хорошо. Пойдём. Только я буду в штатском.

— В штатском, — вздохнула Варя. — Ну ладно. Зато я в сером.

Они легли поздно. Ведерников не мог уснуть. За стеной ходила госпожа Цвиринг. С улицы донёсся стук колёс последнего извозчика. В соседней комнате студент-медик бормотал латынь, готовясь к экзамену. Потом всё стихло, и он ещё долго лежал в темноте с открытыми глазами и думал про человека в чёрной флотской шинели, который отдал ему честь двумя пальцами у непокрытой головы.

Почему он вдруг подумал о нём, Ведерников не знал. Может быть, потому, что лектор, старый ротмистр, сказал сегодня: «Только знать заранее. Всё остальное приходит потом».

Он не знал заранее. Он узнал на другой день, в четыре часа пополудни, на Морской.

Глава 3

Кафе на Морской

Кафе «Ривьера» открылось всего три месяца назад, но уже считалось лучшим на Морской. Варя уверяла, что и во всём Петербурге.

Кафе занимало первый этаж нового дома в стиле модерн. Над изогнутыми окнами вились бронзовые лилии, потолок был расписан ласточками в голубом небе. В зале теснились мраморные столики, венские стулья и пальмы в кадках. По воскресеньям с трёх до шести на маленькой эстраде играли цыгане. Под стеклом витрины лежали корзиночки с кремом, эклеры, трубочки, наполеоны и безе. Варя не могла определиться минут пять. Ведерников смотрел не на пирожные, а на неё.

На ней было серое платье с белым кружевным воротничком и маленькая шляпка с вуалеткой, купленная на прошлой неделе в Гостином дворе за три рубля. Потом Варя два дня жалела о потраченных деньгах. Сегодня она о покупке не вспоминала. Ведерников видел, как она радуется этому вечеру. У неё было лицо, какое бывало в Харбине перед спектаклем: как будто сейчас откроется занавес и всё получится.

— Корзиночку, — сказала она наконец. — Нет, эклер. Нет, корзиночку. Гриша, что ты будешь?

— Ничего. Чаю.

— Нет, так нельзя. Мы празднуем. Ты будешь наполеон.

Ведерников спорить не стал.

Народу было много. Воскресенье, середина апреля, первый по-настоящему тёплый день после долгой мокрой весны. Казалось, весь Петербург вышел на Морскую, Невский и набережные, а едва ли не каждый второй гуляющий заглянул в «Ривьеру». За соседним столиком сидела пожилая дама в лиловом, с собачкой на коленях, и кормила собачку безе. Дальше двое молодых людей в одинаковых клетчатых костюмах пили шампанское и громко спорили о скачках. У окна сидел почтенный господин с седой бородой, похожий на профессора, и читал «Новое время», держа газету на вытянутых руках. Ещё дальше, у самой эстрады, сидела целая семья: отец, полный, лысеющий, в золотом пенсне, мать в шляпе с перьями, двое мальчиков-гимназистов в новых фуражках и девочка лет шести в розовом, с огромным бантом, которая болтала ногами и не отрываясь смотрела на музыкантов.

Цыган было пятеро: седой гитарист, двое молодых скрипачей, полная женщина в жёлтой шали и тоненькая певица с длинными чёрными косами. Она спела «Очи чёрные», затем «Не уходи, побудь со мною», а после затянула что-то по-цыгански. Слов никто не понимал, но слушали все. Девочка в розовом замерла с открытым ртом.

Ведерников по старой привычке выбрал место лицом к двери. Варя заметила это и улыбнулась.

— Ты как в Мукдене, — сказала она. — Помнишь, в той фанзе, где мы обедали у Кондратовича? Ты тогда тоже сел спиной к стене.

— В той фанзе был японский шпион.

— А здесь нет японских шпионов, Гриша. Здесь цыгане и пирожные. Ешь свой наполеон.

Он отломил кусочек пирожного, продолжая следить за дверью.

* * *

Потом его много раз спрашивали, что он видел. Ответ его почти не менялся, и со временем воспоминание стало похоже на заученные показания.

В четыре без десяти минут дверь открылась, и вошёл молодой человек. Лет двадцати, может быть, чуть меньше. Высокий, худой, в студенческой тужурке и в фуражке технологического института, с синим околышем. Светлые волосы, бледное лицо с острыми скулами, покрасневшие губы, словно он долго шёл по холоду. Ничего особенного. За день по Морской прошли, должно быть, сотни таких студентов.

В руках у студента была коробка. Большая, плоская, белая, перевязанная розовой лентой с бантом. На крышке золотом было оттиснуто: «Жоржъ Борманъ». Ведерников знал эти коробки. В такой Глинский послал конфеты Брандту.

Студент остановился у двери и огляделся. Однако свободного столика он явно не искал. Лишь неделю спустя Ведерников понял, кого напомнил ему студент: актёра, вышедшего на сцену и проверяющего, все ли на местах.

Студент не снял фуражку. В «Ривьере» её полагалось оставлять в гардеробе вместе с пальто. Пальто на нём не было, хотя на улице ещё стояла прохлада. Ведерников заметил и калоши — новые, блестящие, без единого пятна грязи. В такой сухой день они казались странными.

Студент пошёл через зал. Медленно, между столиками, держа коробку двумя руками перед собой, словно нёс что-то хрупкое или горячее. Он направлялся к эстраде.

Ведерников перестал жевать.

Он поднялся, ещё не понимая, что именно его встревожило. Он видел белую коробку с розовым бантом и тонкие пальцы студента, сжимавшие картон так сильно, что тот прогибался. Так не держат конфеты. Так держат то, что нельзя уронить.

Варя удивлённо взглянула на него.

— Гриша?

Студент дошёл до эстрады. До столика, за которым сидела семья с девочкой в розовом. Остановился. Девочка повернула к нему голову и улыбнулась, потому что увидела коробку с бантом и, наверное, решила, что это ей.

Студент поставил коробку на край эстрады, у ног старого цыгана с гитарой. Цыган взглянул на коробку, затем на студента и оборвал игру. Молоденькая цыганка ещё пела, она не видела.

Студент повернулся к выходу и зашагал быстро, почти бегом.

— Варя, под стол! — сказал Ведерников.

Он произнёс это негромко, как предупреждал в Маньчжурии о приближении снаряда. Варя узнала этот тон и соскользнула со стула под мраморный столик, не задав ни одного вопроса.

Ведерников шагнул наперерез студенту. Между ними оставалось пять шагов, два столика и молодые люди в клетчатых костюмах, только что поднявшиеся, чтобы чокнуться. Студент увидел его. Посмотрел ему в глаза. Глаза у него были серые и совершенно пустые, как у человека, который уже умер и знает об этом.

— Ложись! — крикнул Ведерников на весь зал, как когда-то на сопке под Ляояном.

Никто не лёг. Все обернулись к нему, удивлённые, недовольные. Дама в лиловом прижала к себе собачку. Профессор с газетой опустил «Новое время». Отец в пенсне нахмурился. Девочка в розовом смотрела на коробку.

И коробка взорвалась.

* * *

Позже он вспоминал лишь отдельные картины. Всё между ними стёрлось из памяти.

Ласточки на потолке. Он лежал на спине и смотрел на них, и они медленно, очень медленно падали вниз вместе с кусками штукатурки, как будто кто-то их подстрелил. Звука не было. Совсем никакого.

Перевёрнутая пальма. Земля, рассыпанная по мрамору. Среди комьев — скрипка без струн.

Молодой человек в клетчатом костюме сидел на полу, привалившись спиной к стене, и смотрел на свою руку. На руке не было двух пальцев. Он смотрел на неё с удивлением и что-то говорил, и Ведерников не слышал, что.

Варя. Она стояла на коленях рядом с ним и что-то делала с его головой, и у неё было белое от известки лицо, как у клоуна, и шляпки с вуалеткой не было, а волосы рассыпались по плечам. Она говорила. Он видел, как шевелятся её губы, и не слышал ни слова. Потом она отвернулась от него и поползла куда-то на коленях, по битому стеклу, и он хотел крикнуть ей, чтобы не ползла по стеклу, и не смог.

Потом звук вернулся. Сразу, весь, как будто кто-то выдернул из ушей вату. Крик. Много криков. Звон стекла, которое ещё сыпалось из рам. Женский голос, высокий, на одной ноте, без слов. Собака, тявкающая где-то под столом. И голос Вари, совсем рядом, спокойный, деловой, тот самый, каким она в Харбине говорила с ранеными:

— Держите здесь. Нет, сильнее. Обеими руками. Вот так. Не отпускайте, пока я не скажу. Как вас зовут? Николай Петрович? Николай Петрович, вы молодец. Держите.

Ведерников сел. Голова кружилась, и что-то тёплое текло по шее за воротник. Он коснулся шеи. На пальцах осталась кровь, но рана, похоже, была неглубокой.

Подняться удалось не сразу.

Эстрады больше не было. На её месте зияла чёрная дыра с рваными краями. Над ней висел серый, с желтоватым отливом дым. От его запаха Ведерникова едва не вырвало. Он знал этот запах. Так пахло на минных полях под Порт-Артуром, куда его однажды послали за донесением. Не порох. Не динамит. Что-то другое, острее и слаще.

Сперва он не увидел цыган. Потом заметил их у развороченной эстрады — и отвёл взгляд.

Семьи у эстрады тоже не было. Он нашёл отца в золотом пенсне у стены, в пяти шагах от того места, где тот сидел. Пенсне было целое. Мать лежала под опрокинутым столом. Одного из гимназистов Варя держала на коленях и перетягивала ему ногу ремнём. Мальчик кричал. Второго нигде не было.

Девочку в розовом Ведерников нашёл последней. Она сидела под пальмой, у окна, куда её отбросило взрывом, на куче битого стекла, совершенно целая, без единой царапины, с огромным бантом на голове, и смотрела перед собой. Розовое платье было серым от известки. Она не плакала.

Ведерников присел перед ней на корточки.

— Тебя как зовут?

Девочка посмотрела на него.

— Где коробка? — спросила она.

* * *

Через пять минут приехала полиция. Через пятнадцать пожарные. Через двадцать, на извозчике, без шапки, задыхаясь, примчался пристав Казанской части, толстый, усатый, с медалью за беспорочную службу, и сразу начал кричать на всех: на городовых, на пожарных, на дворника, на хозяина кафе, который сидел на тротуаре, держась за голову, и раскачивался. Через полчаса прибыли двое из охранного отделения, в штатском, с одинаковыми лицами. Ещё через час карета из Обуховской больницы увезла последних раненых.

Ведерников стоял на тротуаре, у разбитой витрины, где ещё несколько часов назад лежали пирожные, и курил. Пальцы у него не дрожали. Он это проверил: поднёс руку к глазам и подержал. Не дрожали. Голова болела, на шее присох бинт, который наложила Варя. Варя уехала в больничной карете с раненым гимназистом: мальчик так и не отпустил её руку. Ведерников не стал её удерживать.

Один из охранных, тот, что повыше, подошёл к нему. Лицо у него было серое, невыспавшееся, с маленькими колючими усиками.

— Вы находились внутри?

— Был.

— Видели, кто бросил?

— Не бросил, — сказал Ведерников. — Поставил. И видел.

Сотрудник охранного отделения достал записную книжку.

— Фамилия?

— Ротмистр Ведерников. Штаб Отдельного корпуса.

Охранный поднял на него глаза, и в глазах этих мелькнуло что-то, чего Ведерников сразу не понял: досада, усмешка, ревность. Потом понял. Жандарм оказался на месте взрыва раньше охранного отделения и успел увидеть бомбиста. Это значило, что дело будет не их, а значит, не будет ни наградных, ни благодарностей, ни продвижения.

— Ротмистр, — повторил охранный и закрыл записную книжку. — А что же вы, ротмистр, если видели, не задержали?

Ведерников промолчал. Он смотрел мимо охранного, на Морскую, туда, где у Синего моста стояли извозчики.

С тех пор как он вышел на тротуар, взгляд всё возвращался к мосту. Теперь понял почему.

Там, у моста, среди других извозчиков, стояла пролётка на резиновом ходу, с поднятым верхом, запряжённая гнедой кобылой. Извозчик сидел на козлах боком, свесив ноги, в обычном синем армяке и в обычной извозчичьей шапке. Курил. Седока у него не было. Он не кричал «Пожалуйте, прокачу», хотя рядом стояла целая толпа зевак, и не уезжал, хотя все остальные извозчики уже разъехались, потому что городовые их гнали.

Извозчик не сводил глаз с кафе.

Ведерников бросил папиросу и пошёл к нему. Не быстро. Не оглядываясь на охранного, который что-то ему говорил в спину.

Извозчик увидел его. Ведерников был в ста шагах, потом в восьмидесяти, потом в шестидесяти. Извозчик не торопился. Он докурил папиросу, бросил её на мостовую, разобрал вожжи. Потом повернулся на козлах и посмотрел прямо на Ведерникова.

Было далеко, и лица под шапкой Ведерников не разглядел. Видел только, что лицо тёмное, загорелое, а под шапкой короткие светлые волосы. И видел, как извозчик поднял руку и поднёс два пальца к козырьку шапки. Коротко, небрежно. Как отдают честь на корабле.

Потом тронул вожжи, и пролётка покатила через Синий мост, к Исаакию, и скрылась.

Ведерников стоял посреди Морской и смотрел ей вслед. Он не побежал. Бежать было бессмысленно: пролётка на резиновом ходу, сытая кобыла. Но уверенности не было. Ни в чём. Мало ли извозчиков в Петербурге касаются шапки двумя пальцами.

— Ротмистр! — кричал сзади охранный. — Ротмистр, вы куда? Вы обязаны дать показания!

Ведерников вернулся к сотруднику охранного отделения.

* * *

Глинский приехал в одиннадцатом часу вечера. Кафе к тому времени было оцеплено, внутри горели переносные фонари, и в их свете люди из охранного отделения ползали на коленях по полу, собирая что-то в жестяные коробки. Пристав Казанской части сидел на стуле посреди тротуара и пил воду из графина. Ведерников стоял там же, где стоял днём. Его не отпускали, но и ни о чём больше не спрашивали.

Глинский вышел из экипажа, заметил Ведерникова и направился к нему.

— Живы?

— Жив.

— Варвара Николаевна?

— В Обуховской. С раненым мальчиком. Она цела.

Глинский кивнул и надолго замолчал. Смотрел на чёрные окна «Ривьеры», на фонари внутри, на охранных.

— Семеро, — сказал он наконец. — Мне сейчас сказали. Пятеро цыган и двое из семьи у эстрады. Мать и младший сын. Ещё трое, говорят, не доживут до утра. — Он помолчал. — Это кто-то знал, Гриша. Знал, что по воскресеньям здесь цыгане. Что у эстрады садятся семьи с детьми, потому что детям интересно. Что в четыре часа здесь больше всего народа.

— Он не знал, — сказал Ведерников. — Студент. Он не знал, куда идти. Он огляделся у двери, будто искал, куда поставить. Его послали, но не объяснили. Объяснял другой.

— Кто?

Ведерников сунул руку в карман пиджака и вынул то, что подобрал днём на полу, под перевёрнутой пальмой, пока охранные ещё не приехали. Маленький кусок меди, тёмный, обгоревший, с резьбой на одном конце и с остатком какой-то трубочки на другом.

— Вот кто, — сказал он.

Глинский взял обломок, повертел в пальцах и поднёс к фонарю.

— Что это такое?

— Не знаю, — сказал Ведерников. — Но я видел такие. Под Артуром, в девятьсот четвёртом, меня посылали к морякам, на минные поля. Там такие были. Я не знаю, как называется. Это не самодельное. Это делал человек, который учился это делать. Долго учился.

Глинский долго смотрел на медный обломок. Потом вернул его.

— Охранному вы это не отдали.

— Не отдал.

— Почему?

Ведерников задумался. В тишине шипели и потрескивали фонари.

— Потому что они не спросили, — сказал он.

Глинский усмехнулся, коротко и невесело.

— Дело будет вести охранное отделение, Гриша. Это не наше. Мы, корпус, в столице такими делами не занимаемся, если нас не попросят. А нас не попросят. Но вы были там. Вы видели. Напишите мне рапорт. Всё, что видели, по порядку. Студента, калоши, коробку, извозчика. Всё. И эту штуку оставьте у себя. Пока.

— Слушаюсь.

— И ещё, Гриша. — Глинский положил ему руку на плечо. — Вы кричали «ложись». Мне охранный сказал. Он считает, что это было глупо, потому что вы себя обнаружили. А пристав считает, что это было мужественно. А я считаю, что вы просто опоздали на пять секунд, и будете думать об этом всю жизнь. Не думайте. Это не поможет.

* * *

Варя вернулась домой в третьем часу ночи. Ведерников ждал её, сидя у окна, не раздеваясь. Она вошла тихо, чтобы не разбудить госпожу Цвиринг, сняла пальто, повесила его на крючок. Платье было всё в крови, серое платье с кружевным воротничком, и она посмотрела на него, будто только сейчас заметила.

— Мальчик будет жить, — сказала она. — Ногу, наверное, отнимут. Доктор сказал, что если бы не жгут, он бы истёк в карете. — Она села на кровать. — Его Петей зовут. Петя Кольчугин. Он мне всю дорогу рассказывал, что брат хотел эклер, а мама сказала, что эклер вредно на ночь, и брат обиделся. А потом спросил, где брат. Я сказала, что в другой больнице.

Ведерников сел рядом с ней. Она взяла его руку и держала, крепко, как мальчик в карете.

— Гриша, — сказала она после долгого молчания. — А тот студент, который принёс коробку. Ты его видел?

— Да, видел.

— Какой он?

— Молодой, — сказал Ведерников. — Совсем мальчик.

— Его поймают?

— Не знаю.

Варя кивнула и снова долго молчала. Потом встала, подошла к рукомойнику и начала мыть руки. Мыла долго, тщательно, щёткой, как мыла в госпитале. Потом вдруг остановилась и посмотрела на свои руки, мокрые, красные от щётки.

— Он ведь мальчик совсем был, — сказала она тихо. — Тот студент. И девочка в розовом. Что же это такое, Гриша? Что же это?

Ведерников не ответил. Он не знал ответа. Он знал только, что у него в кармане лежит маленький кусок обгоревшей меди и что человек, которому принадлежал обгоревший обломок, сегодня в четыре часа сидел на козлах у Синего моста и курил.

Утром он сел писать рапорт. Рапорт вышел на одиннадцать страниц. На двенадцатой, внизу, уже после подписи, он приписал от руки, мелко, будто не для подполковника, а для себя:

«На месте взрыва найдена листовка, отпечатанная на гектографе. Текст: „Смерть сытым! Каждый, кто ест пирожные, пока рабочий жрёт мякину, приговорён. Боевая группа анархистов-коммунистов «Чёрное знамя». Северная организация“. Листовка изъята охранным отделением. Прошу обратить внимание: листовка лежала на столике у входа, под сахарницей, и была совершенно цела, без следов извёстки и копоти. Её положили после взрыва».

Глава 4

Жорж

В среду, восемнадцатого апреля, в девятом часу утра Ведерников впервые увидел поручика Ратманова и сразу решил, что Глинский ошибся с выбором.

После взрыва в «Ривьере» Глинский отпустил Ведерникова на две недели изучать дела анархистов, однако уже через три дня вызвал обратно — представить помощника. Ведерников ожидал опытного вахмистра, писаря или филёра — кого угодно, но не щеголеватого поручика, ожидавшего его в кабинете.

Он был молод, лет под тридцать, высок, тонок в талии, как бывают только кавалеристы и балерины. Мундир на нём был такой же, как у Ведерникова, но сидел настолько ладно, что ротмистр впервые заметил, как мешковато выглядит его собственный. Тёмные волосы, расчёсанные на косой пробор и блестящие, как у приказчика из модной лавки. Тонкие усики. Глаза карие, с тяжёлыми веками, сонные и насмешливые одновременно. На мизинце левой руки перстень с печаткой.

Когда Ведерников вошёл, поручик, до того сидевший на подоконнике и вертевший в пальцах складной ножичек, соскочил на пол, щёлкнул каблуками — звякнули шпоры — и поклонился чуть менее почтительно, чем полагалось поручику перед ротмистром.

— Ратманов, Евгений Львович. Можно Жорж. Все зовут Жорж, даже маменька. Это с детства, гувернантка была француженка, и Евгений ей не давался.

— Ведерников.

— Знаю, знаю. — Ратманов улыбнулся. — Армеец, Маньчжурия, Ляоян, извозчик номер тысяча двести сорок. Весь штаб знает. Брандт третий день злой как оса. Меня это очень радует. — Он спрятал ножичек. — Подполковник сказал, вы меня берёте в свои. Я рад. Вы не представляете, ротмистр, как я рад. Меня здесь никто брать не хочет.

— Почему?

— Потому что я шалопай, — охотно объяснил Ратманов. — Это официальное мнение. Генерал так и сказал, я сам слышал, через дверь: «Ратманов шалопай, я его держу только потому, что его покойный батюшка был мне товарищ по Пажескому корпусу». Это правда, ротмистр. Насчёт шалопая. Насчёт батюшки тоже.

Глинский кашлянул.

— Жорж, сядьте.

Ратманов послушно вернулся на подоконник.

— Жорж, — сказал Глинский, обращаясь к Ведерникову, — служил в лейб-гусарах. Три года назад имел неосторожность стреляться с одним офицером Преображенского полка из-за одной певицы из «Аквариума». Офицер Преображенского полка был ранен в руку, певица уехала в Москву с купцом, а Жоржу предложили покинуть полк. Долгов у него было тогда двадцать восемь тысяч, сейчас, полагаю, больше.

— Тридцать одна, — подсказал Ратманов. — Но это ненадолго, я в субботу отыграюсь.

— Он пришёл в корпус, потому что здесь жалованье выше, а мундир похож на гусарский, — продолжал Глинский, не обращая внимания. — По крайней мере, так он говорит. И он действительно шалопай. Но он знает в Петербурге всех. Он знает каждый ресторан, каждый салон, каждый игорный дом, каждую певицу и каждого шулера. Он говорит по-французски лучше, чем по-русски, и по-воровски лучше, чем по-французски. Он вхож туда, куда вас, Гриша, никогда не пустят, потому что у вас на лице написано, что вы армеец и считаете патроны. А у него

на лице написано, что он проиграл в карты имение и думает только о том, где бы отыграться. Это полезное лицо.

— Мерси, — отозвался Ратманов.

— Ещё он стреляет лучше всех в корпусе, — добавил Глинский. — Это, правда, никого не утешает, потому что стреляет он в основном в люстры.

* * *

На улице Ратманов взял извозчика, даже не поторговавшись, и велел ехать на Лиговку.

— Куда мы? — спросил Ведерников.

— Туда, где продают то, что вам нужно, — сказал Ратманов, откидываясь на сиденье. — Подполковник мне рассказал про вашу медяшку. Покажите.

Ведерников достал. Ратманов двумя пальцами взял медный обломок, повертел, поднёс к носу.

— Ну, ротмистр, я вам не моряк, — сказал он. — Но кое-что знаю. У меня кузен служил на «Петропавловске». Утонул вместе с Макаровым, мир праху. Он мне один раз, ещё до войны, показывал такую штуку. Это от запала. Морской запал, Гейслера или Гартмана, не помню. А внутри, вот здесь, в трубочке, должна быть гремучая ртуть. Без неё ничего не взорвётся, хоть ты пуд динамиту положи. Динамит, ротмистр, это сено. Гремучая ртуть — это спичка.

— И где её берут?

— В том-то и вопрос. — Ратманов вернул обломок. — Динамит в Петербурге купить можно. Дорого, хлопотно, но можно. Его воруют на каменоломнях в Финляндии, на постройке дорог, на рудниках. А гремучую ртуть делают только на казённых заводах. Охтинский пороховой, капсюльная мастерская. Её не воруют, ротмистр. Её выносят. По щепотке. Год, два, три. И продают тем, кто знает, кому продать. А в Петербурге есть ровно два человека, которые знают, кому продать.

— И вы знаете таких людей?

— Одного знаю, — сказал Ратманов скромно. — Второй в прошлом году утонул в Обводном. Случайно. — И, выдержав паузу, добавил: — Не я.

* * *

Трактир назывался «Гусь» и помещался в подвале доходного дома на углу Лиговки и Свечного переулка. К нему вели одиннадцать каменных ступеней, по которым никто никогда не спускался трезвым, а поднимались, как сказал Ратманов, только самые везучие.

В десять утра в «Гусе» всё ещё стоял полумрак. Окна под самым потолком, на уровне мостовой, были замазаны мелом. Горели керосиновые лампы, пахло пивом, щами и мокрыми валенками. За стойкой стоял хозяин, огромный, рыжий, без шеи, в жилетке на голое тело, и вытирал стакан полотенцем, которое когда-то, наверное, было белым. За столами сидели человек двадцать. Ломовые извозчики, грузчики с Николаевской товарной станции, какие-то личности неопределённого вида в пиджаках с чужого плеча. В углу, у печки, спала, положив голову на стол, женщина в рваной шали.

Когда они вошли, разговоры смолкли. Ведерникову вспомнилась тишина в окопах перед японской атакой.

Двое жандармских офицеров в полной форме, при шашках, в лиговском трактире в десять утра. С тем же успехом во время службы в церковь могли войти два медведя.

Хозяин отложил полотенце и поставил стакан на стойку.

— Жорж Львович, — сказал он наконец, и голос у него был неожиданно тонкий, почти бабий. — Ох, Жорж Львович. Зачем же вы так-то? При полном параде? Вы же мне всю торговлю…

— Ваня, — сказал Ратманов ласково. — Ванечка. Мне Кулёк нужен.

— Нету Кулька.

— Ванечка, — повторил Ратманов ещё ласковее и положил на стойку монету. Ведерников успел заметить, что монета золотая, десятирублёвая. — Я тебе в прошлом году что сказал? Что если Кулёк ещё раз будет играть со мной краплёной колодой, я ему… что я ему сделаю, Ванечка?

— Вы сказали, Жорж Львович, — тонко сказал хозяин, накрывая монету полотенцем, — что вы ему отстрелите то, что у него между ушами. И что он всё равно не заметит, потому что там пусто.

— Вот. А я человек слова. Поэтому мне нужен Кулёк.

Хозяин вздохнул и кивнул на дверь за стойкой.

* * *

Кулёк оказался маленьким лысым человечком со сморщенным лицом. На носу сидели очки с треснувшим стеклом; поверх грязной рубахи он носил бархатный жилет. Он сидел в задней комнате за круглым столом, покрытым зелёным сукном, один, и раскладывал пасьянс. Когда вошёл Ратманов, Кулёк поднял голову, и лицо его болезненно вытянулось.

— Жорж Львович, — сказал он. — Я же чистый. Я с прошлого раза…

— Сядь, Кулёк, — сказал Ратманов, хотя Кулёк и так сидел. Сам он сел напротив, а Ведерников остался у двери. — Сыграем?

— Не играю. Завязал.

— Ну, Кулёк. — Ратманов достал из кармана свою колоду, новую, в бандероли, с орлом на рубашке, и сорвал бандероль. — Немножко. Одну сдачу. В штосс. Я понтирую, ты мечешь. Ставка такая. Если выиграешь ты, я тебе плачу двадцать пять рублей. Если выиграю я, ты мне говоришь, кому за последние полгода продавал гремучую ртуть.

Кулёк заметно побледнел.

— Жорж Львович, я ничего не продавал.

— Значит, двадцать пять рублей твои, — сказал Ратманов. — Тебе и бояться нечего. Мечи.

Ратманов положил колоду на стол. Кулёк не сводил с неё глаз. Наконец протянул руку и взял карты.

Ведерников ничего не понимал в штоссе. Он знал только, что игра эта простая и азартная: один выбирает карту, другой мечет колоду направо и налево, и если выбранная карта ляжет налево, выигрывает понтёр, если направо, банкомёт. Шулера мечут так, что карта ложится куда нужно им. Кулёк, по всему судя, был шулером. Но колода была не его.

Ратманов вынул из колоды карту, посмотрел на неё, не показывая, и положил рубашкой вверх.

— Мечи.

Кулёк метал. Руки у него дрожали. Карты ложились направо, налево, направо, налево. Ратманов из-под тяжёлых век наблюдал не за картами, а за Кульком.

На двенадцатой карте Кулёк вдруг остановился.

— Ну? — сказал Ратманов.

— Жорж Львович…

— Мечи, Кулёк.

Кулёк положил тринадцатую. Налево. Пиковая дама. Ратманов перевернул свою карту. Пиковая дама.

— Моя, — сказал он. — Говори.

— Это нечестно, — сказал Кулёк дрожащим голосом. — Колода ваша…

— Колода моя, а метал ты, — сказал Ратманов. — И остановился ты на двенадцатой. Потому что знал, что тринадцатая моя, и хотел сдёрнуть её направо, а пальцы не послушались. Ты, Кулёк, не шулер. Ты трус. Шулер не останавливается. Говори.

Кулёк молчал. На лысине выступил пот.

Ведерников заговорил неожиданно для самого себя. Перед глазами вновь возникла девочка в розовом, сидевшая под пальмой на куче стекла.

— В воскресенье на Морской, в кафе, — сказал он, — была бомба. Знаешь?

Кулёк повернул к нему голову.

— Семеро убиты. Пятеро цыган. Женщина. Мальчик. Гимназист, лет десяти. Он хотел эклер, а мать не дала. Брату его, другому мальчику, отрежут ногу. — Ведерников подошёл к столу и положил на зелёное сукно медный обломок. — Вот это было в бомбе. Внутри этого была гремучая ртуть. Твоя или нет, мне всё равно. Если твоя, ты убил этих людей. Если не твоя, ты знаешь, чья. Выбирай.

Кулёк долго смотрел на медь. Перевёл взгляд на Ведерникова, затем на Ратманова. Ратманов спокойно тасовал колоду.

— Не я, — сказал наконец Кулёк, тихо. — Я с этими не вожусь. Я барыга, я краденое сбываю, я ихнего не беру. Ихнее палёное. Но я знаю, кто брал. Он мне сам предлагал, а я отказался. — Он облизнул губы. — В феврале было. Пришёл ко мне человек. Не наш, не лиговский. Барин. Выправка, знаете, как у вас. Как у военных. Говорил вежливо. Спросил, нет ли у меня капсюльного состава с Охты. Я сказал, что нет. Он сказал, что жаль, и ушёл. А потом я слышал, что он взял у Сеньки Косого. Сенька работает на Охте, в мастерской. Сторожем. Три фунта взял, за три года собранного. Сенька потом месяц гулял, а потом его на Охте и нашли. В воде.

— Как выглядел барин? — спросил Ведерников.

— Не помню. — Кулёк потёр лысину. — Высокий. В пальто. Глаза светлые. Загорелый, как цыган, а глаза светлые. Это я запомнил, потому что странно. И ещё… — Он помялся.

— Что?

— Когда уходил, он мне вот так сделал. — Кулёк поднёс два пальца к виску. — Вроде как козырнул. Только без фуражки. Я ещё подумал, смешной барин, без шапки козыряет.

Ведерников стоял неподвижно. Ратманов перестал тасовать колоду и посмотрел на него.

— Куда он увёз ртуть? — спросил Ведерников.

— Не знаю. Правда не знаю, ваше благородие. Сенька говорил, что передал на пристань. На Обводном, у Варшавского моста, там баржи грузятся. На баржу передал, в ящике из-под мануфактуры. Баржа шла вверх, по Мариинской, на Волгу. А куда на Волгу, Сенька не знал. Говорил только, что барин сказал: «Мануфактура для Калязина».

* * *

Из «Гуся» пришлось выбираться с боем.

Ведерников так и не понял, с чего началось. Кажется, кто-то в общем зале узнал, что Кулёк говорит с жандармами, и решил, что тот выдаёт своих. Позднее говорили, будто первым выступил ломовой в кожаном фартуке, с кулаками, как пудовые гири. Его брат будто бы был на каторге. Ведерников помнил, как они с Ратмановым вышли из задней комнаты и увидели, что в зале собралось уже не двадцать человек, а сорок. Все стояли и молча смотрели. Ломовой в фартуке шагнул вперёд и сказал:

— Голубые. Жандармы. Кулька продали.

В чьей-то руке мелькнул нож.

Ведерников не стал доставать револьвер. Он знал, что если достанет, придётся стрелять, а если придётся стрелять, в этом подвале положат человек пять, и половина будет ни при чём. Он взял за спинку ближайший стул, тяжёлый, дубовый, и ударил им ломового по рукам, когда тот замахнулся, и ломовой взвыл, и нож упал на пол. Потом он ударил ещё кого-то, кто лез сбоку. Потом кто-то ударил его, по скуле, так что в глазах вспыхнуло. Потом…

Грохнул выстрел — один, оглушительный в тесном подвале.

Все замерли.

Под потолком, над стойкой, висела керосиновая лампа на цепи, большая, с жестяным абажуром. Пуля разбила одно из звеньев у самого крюка. Лампа раскачивалась на перекошенном, едва державшемся креплении. Ещё рывок — и она рухнет на стойку, на бутылки, на хозяина, носившего жилет прямо на голом теле. Керосин разольётся и вспыхнет.

Ратманов стоял посреди зала, направив револьвер на лампу. Лицо у него было всё такое же сонное и насмешливое.

— Господа, — сказал он вежливо. — В подвале одиннадцать ступенек. Если лампа упадёт, вспыхнет водка на стойке. Водки у Вани много. До двери вы не добежите. Я, кстати, тоже. Поэтому предлагаю так. Вы садитесь по местам. Мы с ротмистром выходим. А Ваня снимает лампу, пока она не упала. Ваня, снимай.

Хозяин, побелев, взобрался на стойку.

Минуту спустя они стояли на мокрой мостовой Лиговки под серым апрельским небом. Ведерников трогал скулу. Ратманов убирал револьвер в кобуру, улыбаясь.

— Подполковник говорил, вы стреляете в люстры, — сказал Ведерников.

— Только в те, что над водкой, — ответил Ратманов. — В другие неинтересно. — Он посмотрел на скулу Ведерникова. — Вам бы, ротмистр, лёд приложить. Или серебряный рубль. У меня нет серебряного, только золотой. Золотой не помогает, это проверено.

Ведерников рассмеялся. За всю неделю это случилось лишь во второй раз.

* * *

Потом они сидели в маленькой кондитерской на Невском, у Знаменской площади, и пили кофе. Ратманов заказал ещё рюмку шартреза и марципановое пирожное. Ел медленно, с почти детским удовольствием.

— Калязин, — сказал он задумчиво. — Это где, ротмистр? Я, признаться, дальше Царского Села не ездил. И Красного, на манёвры.

— Тверская губерния. На Волге. Уездный город.

— Зачем анархистам Калязин?

— Не знаю. — Ведерников смотрел в окно, на Невский, на конку, на городового на углу. — Может быть, им нужно тихое место. Где никто не ищет. Где можно держать то, что нельзя держать в Петербурге. — Он помолчал. — Жорж, этот человек. Барин с выправкой. Загорелый, глаза светлые. Он отдал Кульку честь двумя пальцами.

— Ну и что?

— Так отдают честь на флоте.

Ратманов опустил чашку на блюдце.

— Вы его знаете, ротмистр?

Ведерников помедлил с ответом.

— Нет, — сказал он. — Я в него один раз стрелял. С пятнадцати шагов. И промахнулся. Два раза.

Ратманов долго смотрел на него. Потом взял рюмку шартреза, выпил её одним глотком и впервые за всё утро сказал без тени насмешки:

— Это, ротмистр, бывает. Я тоже один раз промахнулся. В Преображенского. Целил в лоб, попал в руку. Мне потом все говорили, что я его пожалел. А я не жалел. Я просто промахнулся. — Он поставил рюмку. — Только знаете что? Второй раз я бы не промахнулся. Ни за что. И вы не промахнётесь. Потому что вы теперь знаете, в кого стреляете.

Ведерников взглянул на поручика. Похоже, Глинский не ошибся и на этот раз.

Вечером он написал второй рапорт, короткий, на две страницы. Глинский прочёл его при нём, вздохнул и сказал:

— Калязин. Это Тверское губернское управление. Я им напишу. Пусть дадут вам человека, который знает уезд. Поезжайте послезавтра. Охранному мы пока ничего не скажем. Это ваш след, Гриша. Пусть будет ваш.

— А Жорж?

— Жорж остаётся здесь, — сказал Глинский. — В Калязине нет ни ресторанов, ни певиц, ни шулеров. Жорж там умрёт со скуки за два дня. А здесь у него будет дело. Мне нужно, чтобы кто-нибудь посидел в Петербурге в салонах и послушал, что там говорят о бомбе на Морской. В салонах, Гриша, всегда знают больше, чем в охранном отделении. Только сами не знают, что знают.

Глава 5

Калязин

Ранним утром на тверском перроне, под мелким дождём, Ведерникова ждал человек из губернского жандармского управления. По всему было видно: незнакомца прислали за ним.

Неподалёку стояли женщина с корзиной яиц и станционный сторож с фонарём. Жандарм был широкоплечий, с длинными седыми усами; казалось, его высекли из дуба. Дождь стекал с фуражки, а он не двигался.

— Ротмистр Ведерников?

— Я.

— Унтер-офицер Панкратов, ваше благородие. Кузьма Лукич. Прикомандирован к вам на время командировки в Калязинский уезд. — Он не козырнул, а как-то весь подобрался, отчего показался ещё больше. — Лошади ждут. До Калязина сто вёрст с гаком, ваше благородие. Если без остановок, к ночи будем.

— А поездом?

— Поездом до Кашина, а там на перекладных. Дольше выйдет. Да и чугунку там каждая собака видит. — Панкратов оглянулся. — Мне господин полковник сказал, вы тихо хотите. Тихо лучше на своих.

Ведерников внимательно посмотрел на унтер-офицера.

— Вы Калязин знаете?

— Я, ваше благородие, всю губернию знаю. — Панкратов взял у него саквояж, как берут котёнка, двумя пальцами. — Тридцать лет на службе. Отец мой тоже в здешнем управлении служил. Хивинский поход прошёл, медаль имел. А я, значит, по его стопам. Четыре года, правда, в Москве был, на Хитровке, городовым, в девяностых, а так всё здесь.

— На Хитровке?

— Так точно. — Панкратов вдруг усмехнулся в усы, и лицо у него стало совсем другое, хитрое и доброе. — Хорошее было место, ваше благородие. Учебное. Я там за четыре года узнал о людях больше, чем за все остальные двадцать шесть. Был у нас, помню, в девяносто шестом году случай…

По дороге в Калязин Панкратов почти не умолкал. Бричка с парой казённых лошадок вязла в апрельской грязи. Унтер вспоминал Хитровку, ночлежки, воров и городовых, знаменитую нищенку Марфу, у которой под матрасом нашли восемнадцать тысяч. Ведерников не всегда мог отличить правду от выдумки, но слушал с интересом.

Вскоре он понял: за байками скрывались сведения, ради которых пришлось бы неделями расспрашивать местных чиновников. Панкратов знал исправника и становых, купцов, державших пристани и склады, владельцев барж, управляющих окрестных имений — и даже то, кто из помещиков задолжал соседям.

— Вы не спрашиваете, зачем я еду, — сказал наконец Ведерников, когда стемнело и за рекой показались огни.

— Не спрашиваю, ваше благородие.

— Почему?

Панкратов посмотрел на огни за рекой, помедлил.

— Потому что вы сами скажете, когда надо будет, — ответил он. — А если не скажете, значит, не надо. У нас на Хитровке так говорили: кто много спрашивает, тот мало слышит.

* * *

Калязин встретил их тишиной. На высоком волжском берегу темнели деревянные дома; над крышами поднимались церковные колокольни. На главной улице горели три фонаря, у пристани — ещё один. За пределами этих редких островков света город спал.

Ночевали у станового пристава, в мезонине, на двух узких кроватях, под иконой, перед которой теплилась лампадка. Невысокий лысый становой суетился вокруг гостей, тщетно скрывая испуг. Жандармы в его уезде не бывали лет пять, и он, видно, решил, что приехали за ним.

Утром Ведерников отправился на пристань.

Пристань принадлежала купцу Сыромолотову, который держал пароходную контору, три склада и лавку колониальных товаров. Сам купец уехал в Рыбинск. Приказчик, бойкий молодой парень с напомаженным коком, листая книгу, то и дело смачивал палец слюной.

— Мануфактура из Петербурга, говорите? — Он водил пальцем по строчкам. — Мануфактуры у нас много. Вот, в марте, баржа «Святая Ольга», от Варшавского моста. Двенадцать мест мануфактуры, для лавки Сыромолотова. Четыре места для купца Кашина. Два места… — Он прищурился. — Два места, мануфактура, для имения Сосновка, господину управляющему. Получено. Отвезено.

— Сосновка — это чьё имение?

— Озеровых, — сказал приказчик. — Господ Озеровых. Только они там не живут. Старая барыня померла, а молодой барин в Петербурге. Вадим Аркадьевич. У него дядя губернатор где-то на Волге, а сам он, говорят, в Петербурге учёный. Или художник. В общем, что-то такое. Летом наезжает, с компанией. Шумно гуляют.

— Что за компания?

Приказчик развёл руками.

— Столичные. Студенты, барышни. В прошлом году приезжали, на лодках катались, костры жгли. Песни пели. Барышни стриженые, в мужских рубашках. У нас в городе потом месяц разговоров было.

— А управляющий?

— Управляющий у них Хольцман, немец, Карл Фёдорович. Старый, ещё при покойной барыне служил. Он в имении живёт круглый год. Хозяйство ведёт. — Приказчик закрыл книгу и посмотрел на Ведерникова с любопытством. — А что, ваше благородие, мануфактура не та пришла?

— Мануфактура та, — сказал Ведерников. — Покажите мне, где вы её храните. Склад.

* * *

Склад, куда в марте выгрузили «мануфактуру» для имения Сосновка, стоял на отшибе, у самой воды, ниже пристани. Это был почерневший от времени бревенчатый амбар с тесовой крышей и тяжёлыми дверями на железных петлях. Сыромолотов держал в нём то, что не помещалось в главных складах: старые бочки, рогожи, канаты, сломанные телеги. Здесь же оставляли чужой товар, который не забрали вовремя.

— Сосновская мануфактура долго тут стояла, — сказал приказчик, отпирая замок. — Месяц, почитай. Управляющий всё не ехал. Потом приехал, забрал. Одно место забрал, а другое, говорит, пусть пока постоит, потом пришлю. И не прислал.

— Так одно место ещё здесь?

— Здесь, где ж ему быть. Вон, в углу, под рогожей.

Дверь скрипнула. Из амбара потянуло сыростью, дёгтем и мышами. Свет падал из распахнутой двери и крохотного окна под крышей. Ведерников шагнул внутрь. Панкратов вошёл следом, пригнувшись, чтобы не стукнуться о притолоку.

В дальнем углу, под рваной рогожей, угадывался большой деревянный ящик.

Сквозь привычные складские запахи пробивался другой — резкий, едкий.

Керосин.

— Назад! — крикнул он.

Снаружи глухо ухнуло. В окошке под крышей вспыхнул оранжевый свет; затрещало дерево. Приказчик вскрикнул. Ведерников обернулся: задняя стена амбара уже горела, а огонь полз по рогожам к двери.

Амбар облили снаружи и подожгли, пока они разговаривали у двери.

— Ящик! — крикнул Ведерников. — Панкратов, назад, на улицу!

Если в ящике действительно лежала взрывчатка, оставаться рядом с огнём было смертельно опасно. Ведерников не знал, сколько у них времени.

Панкратов не пошёл на улицу.

Унтер двинулся к ящику, обходя уже занявшиеся рогожи. Сдёрнул рогожу, обхватил ящик обеими руками и поднял. Пламя лизнуло рукав его шинели.

Панкратов повернулся к двери и пошёл, не прибавляя шага.

Ведерников застыл в дверях. У Панкратова горели рукав и пола шинели, но унтер даже не посмотрел вниз. Он нёс ящик перед собой, как нёс бы икону на крестном ходе, и лицо у него было сосредоточенное и спокойное.

Он миновал порог, прошёл мимо Ведерникова и остановился лишь посреди пристанского двора, шагах в двадцати от горящего амбара. Осторожно, без стука, поставил ящик на землю.

Панкратов сбил огонь с рукава и полы шинели, присел возле ящика и вытер закопчённый лоб. Руки у него не дрожали.

Ведерников подошёл к нему. Колени у него дрожали — впервые со времён Ляояна.

— Унтер, — сказал он. — Вы сидите на динамите.

— Так точно, ваше благородие, — сказал Панкратов и посмотрел на ящик. — Сижу.

— Встаньте.

— Не извольте беспокоиться, ваше благородие. Ящик осмотрел, насколько успел. Только не подумайте, что он безопасен. Отнесли подальше от огня — и ладно. Теперь бы сапёров позвать.

— Откуда вы знаете?

— Крышка неплотно сидела, — сказал Панкратов. — Видел свёртки, на шашки похожие. А что там ещё, без осмотра не скажешь. Тут осторожность нужна, ваше благородие.

Ведерников отошёл от ящика и велел отвести людей подальше от амбара.

Крыша амбара обрушилась, взметнув в небо столб искр. Приказчик носился по двору, крича: «Пожар!», а с пристани уже бежали люди с вёдрами.

— Кто поджёг? — спросил Ведерников.

— А вон он, — спокойно сказал Панкратов и показал рукой.

У самой воды, за амбаром, по берегу бежал человек. Худой, с бородкой, в длиннополом пальто и шляпе. Он спотыкался, путался в полах пальто и торопился к лодке, привязанной у мостков.

— Он, ваше благородие, — сказал Панкратов, не вставая. — Я его ещё у пристани приметил, когда мы шли. Он стоял, на нас смотрел. С бидоном. А бидон, думаю, зачем на пристани? Лампы на пристани не заправляют. Я вам хотел сказать, да вы с приказчиком разговаривали, а на Хитровке у нас как говорили? Не перебивай начальство. — Он вздохнул и наконец поднялся. — Ну, я пойду возьму.

Он пошёл. Не побежал, а пошёл, тяжело, вразвалку, к берегу. Человек в длиннополом пальто уже добежал до лодки, уже прыгнул в неё, уже рвал верёвку, привязанную к мосткам. Верёвка не поддавалась.

Панкратов дошёл до мостков, когда человек справился наконец с верёвкой и оттолкнулся веслом. Лодка отошла на сажень. Панкратов спокойно шагнул в воду, по колено, протянул руку, взял лодку за нос и подтянул обратно к мосткам, как подтягивают к себе за ухо нашкодившего мальчишку. Человек в пальто ударил его веслом по плечу. Панкратов этого, кажется,

не заметил. Он взял человека за шиворот, поднял, как поднял ящик, вынул из лодки и поставил на мостки.

— Пожалуйте, — сказал он.

* * *

Поджигателем оказался Андрей Ильич Зотов, учитель сельского училища в Сосновке, при имении Озеровых.

В холодной у станового он сидел на лавке, мокрый, без шляпы, дрожал и плакал. Ему было лет двадцать пять. Бородка, которую он, видно, отпускал для солидности, была жидкая и рыжеватая. Очки он потерял, пока Панкратов вытаскивал его из лодки, и теперь смотрел на Ведерникова, щурясь, близоруко и беспомощно.

— Я не хотел, — повторял он. — Я не хотел. Я только должен был… если кто-нибудь придёт… если придут за ящиком… уничтожить. Мне так сказали. Чтобы не досталось. Я не знал, что вы будете внутри. Я думал, вы снаружи. Я не хотел никого…

— Кто сказал?

Зотов замолчал.

— Андрей Ильич, — сказал Ведерников. Он сидел напротив Зотова на табурете, усталый, грязный, пахнущий дымом. Говорил тихо. — В Петербурге, на Морской, в кафе неделю назад взорвали бомбу. Семь человек убиты. Пятеро цыган, женщина и мальчик. Мальчику было десять лет. Динамит для этой бомбы шёл через ваш амбар. Капсюли тоже. Если бы унтер-офицер Панкратов сегодня не вынес ящик, сгорел бы он, сгорел бы я, сгорел бы приказчик, которого вы, наверное, знаете с детства. Вы учитель, Андрей Ильич. Вы детей учите. Скажите мне, кто вам велел.

Зотов смотрел на него, и по лицу у него текли слёзы.

— Я его не знаю, — прошептал он наконец. — Честное слово. Я знаю только кличку. Его так все зовут. Он приезжал в прошлом году, летом, с Вадимом Аркадьевичем, с компанией. Говорил с нами. Со мной. Про справедливость. Про то, что государство это машина для убийства и что машину надо взорвать. Он так говорил… Вы не понимаете. Он так говорил, что хотелось сразу встать и идти за ним. Он ничего не боялся. Он нам рассказывал, как он был на войне, на флоте, как его корабль утонул, и как он плыл три часа в холодной воде среди мёртвых, и как его подобрали японцы. И как его потом наши судили. За то, что он сдался в плен. Он не сдавался, его из воды вытащили, без сознания. А его судили и выгнали со службы. Он сказал: «Они меня утопили, а потом наказали за то, что я не утонул». — Зотов всхлипнул. — Вы понимаете?

— Как его звали?

— Минёр, — сказал Зотов. — Все звали его Минёр.

Ведерников долго молчал. Потом встал.

— Унтер, — сказал он Панкратову, который стоял у двери, огромный, в обгоревшей шинели. — Отвезёте его в Тверь, в губернскую тюрьму. Под расписку. Ящик туда же, в управление, в подвал, под замок, под охрану. И опишите всё. Всё, что было. Своей рукой.

— Слушаюсь, ваше благородие, — сказал Панкратов, разглядывая собственные руки. — Я, ваше благородие, писать не мастер. У меня рука тяжёлая. Буквы выходят, как поленья.

— Вот и хорошо, — сказал Ведерников. — Я тоже не люблю завитушек.

* * *

Вечером, в мезонине у станового, при свече, он писал рапорт Глинскому. Семь страниц заняли амбар, ящик, Зотов, Минёр, имение Сосновка и Вадим Аркадьевич Озеров, чей дядя был губернатором. Он написал всё. Потом, уже подписавшись, взял ещё один лист и написал второй рапорт, на имя начальника Тверского губернского жандармского управления, через голову Глинского, что было нарушением всех правил. Рапорт был короткий.

«Ходатайствую о прикомандировании унтер-офицера Тверского губернского жандармского управления Панкратова Кузьмы Лукича к штабу Отдельного корпуса жандармов в моё распоряжение для исполнения особых поручений, сроком до окончания дела, по коему я командирован. Основание: личная храбрость, проявленная при спасении казённого имущества и вещественных доказательств из горящего строения 23 апреля сего года в г. Калязине, а также знание уезда и людей. Ротмистр Ведерников».

Он перечитал, подумал и вычеркнул слова «казённого имущества». Получилось: «при спасении вещественных доказательств из горящего строения». Подумал ещё и дописал после этого: «и жизни трёх человек, включая нижеподписавшегося».

Панкратов сидел внизу, в кухне у станового, и пил чай с баранками. Шинель сохла на гвоздике у печки, распространяя запах палёного сукна.

Ведерников спустился, сел напротив и положил перед ним рапорт.

— Прочтите, унтер.

Панкратов взял лист, отодвинул подальше от глаз, как делают дальнозоркие, и стал читать, шевеля губами. Он долго разбирал строки, затем положил лист на стол и разгладил ладонью.

— Это вы зря, ваше благородие, — сказал он. — Про храбрость. Я не от храбрости. Я от глупости. Мне отец говорил: Кузьма, ты дурак, ты сначала делаешь, а потом думаешь. Так и есть.

— А если бы подумали?

Панкратов подумал.

— Всё равно бы понёс, — сказал он. — Там же приказчик стоял, Петька Сыромолотовский. Я его батьку знаю. Куда ему, батьке, без Петьки?

Ведерников ничего не ответил. Взял со стола баранку, разломил, обмакнул в чай.

— В Петербург поедете? — спросил он.

— Если прикажут, поеду, ваше благородие. — Панкратов помолчал и добавил, глядя в стакан: — Только вы уж там за меня, ваше благородие, похлопочите, чтобы на время. У меня в Твери отец похоронен. На Смоленском. Мне к нему раз в месяц надо ходить. Он у меня без этого скучает.

— Похлопочу, — сказал Ведерников. — На время.

Он не знал тогда, что эта командировка продлится гораздо дольше, чем они оба предполагали, до первого льда на Неве, и что Панкратов вернётся на Смоленское кладбище в Твери насовсем и ляжет там рядом с подполковником Глинским, недалеко от отца.

Никто этого не знал.

Глава 6

Минёр

Архив Морского министерства помещался в подвалах Адмиралтейства. По пути к архиву Ведерников прошёл четыре лестницы и одиннадцать запертых дверей.

Капитан второго ранга ждал его в тесной комнате с окном под потолком. За стеклом мелькали ноги прохожих. Старый, сухощавый, с белыми бакенбардами, как у адмиралов на портретах, пустой левый рукав его мундира был заколот булавкой. Перед ним лежало письмо Глинского. Капитан прочёл его дважды, снял пенсне и посмотрел на Ведерникова.

— Цусима, — произнёс он. — Вы приехали за Цусимой.

— Мне нужен один офицер, — ответил Ведерников.

— По судьбе одного офицера Цусиму не понять, ротмистр. — Капитан поднялся и взял со стола связку ключей. — Офицеров там было много. Тысячи людей погибли. Пойдёмте.

Они шли вдоль железных шкафов и стеллажей до потолка, мимо ящиков, на которых белой краской были написаны названия кораблей. «Суворов». «Ослябя». «Бородино». «Александр Третий». «Наварин». «Сисой Великий». Ведерников читал их и вспоминал, как в Харбине в конце мая пятого года пришли первые телеграммы. В офицерском собрании все молчали, пока один пожилой полковник не встал, поднял рюмку, сказал: «За флот», выпил и разбил рюмку об пол. Остальные поднялись следом. Рюмки одна за другой разбивались о пол. Никто больше не произнёс ни слова.

— Вот, — сказал капитан, остановившись у ящика с надписью «Император Николай I». — Вам сюда. Если я правильно понял письмо подполковника.

— Почему именно этот ящик?

Капитан коснулся крышки ящика.

— Потому что «Николай» не утонул, ротмистр, — сказал он. — «Николай» сдался. Пятнадцатого мая, утром, адмирал Небогатов поднял на нём сигнал о сдаче, и с ним ещё три корабля. Две тысячи человек. Японцы взяли их без единого выстрела. Потом, в прошлом году, был суд в Кронштадте. Небогатова приговорили к расстрелу и заменили крепостью. Офицеров, кто поддержал сдачу, тоже судили. Кто не поддержал, отпустили. — Он помолчал. — Был один, который не только не поддержал. Он хотел взорвать корабль. Минный офицер. Лейтенант. Когда подняли сигнал, он спустился в минный погреб и начал готовить подрыв. Его остановили свои. Связали и заперли в каюте. Японцы его и вывели из каюты, связанного.

— Лесовский, — сказал Ведерников.

Капитан пристально посмотрел на него.

— Вы его знаете?

— Нет. Мне назвали фамилию. Вчера, в штабе флота, знакомый подполковника. Сказал: если ищете минёра, который ненавидит государство, начните с Лесовского.

Капитан промолчал. Открыл ящик, перебрал бумаги и протянул Ведерникову тонкую папку в синей обложке.

— Здесь мало, — сказал он. — Он не явился на суд. Ни свидетелем, ни подсудимым. Его вызывали дважды. Он прислал письмо. Оно там, в конце. Читайте здесь. С собой выносить нельзя.

* * *

Следующие два часа Ведерников читал, почти не поднимая головы.

Лесовский, Алексей Николаевич. Родился в 1873 году в Севастополе, в семье капитана первого ранга. Мать урождённая Ланская. Морской кадетский корпус, выпуск 1894 года,

шестой по списку. Минный офицерский класс в Кронштадте, 1898 год, первый по списку. Служил на Черноморском флоте, потом на Балтийском. Мичман, лейтенант. Аттестации: «Офицер блестящих способностей, отличный специалист минного дела. Знает английский, французский и немецкий. Решителен. Характер прямой и замкнутый. С товарищами ровен, к нижним чинам требователен, но справедлив. В карты не играет. Вина не пьёт. Не женат». И ещё, в другой аттестации, другим почерком, через два года: «Склонен к вольномыслию. Резок с начальством. Читает книги, не одобренные к чтению на флоте. Рекомендуется к наблюдению».

В 1904 году — назначение старшим минным офицером на броненосец «Император Николай I», в Третью Тихоокеанскую эскадру, которая пошла вдогонку Второй, через полмира, на Цусиму.

Дальше лежал рапорт командира «Николая» о событиях утра пятнадцатого мая. Ведерников перечитал его: с первого раза трудно было поверить написанному.

«…по подъёме сигнала лейтенант Лесовский, оставив свой пост, без приказания спустился в минный погреб, куда за ним последовали двое минных машинистов. Через непродолжительное время ко мне явился мичман Р. и доложил, что лейтенант Лесовский устанавливает в погребе подрывной патрон, с тем чтобы взорвать корабль, ввиду предстоящей сдачи. По моему приказанию лейтенант Лесовский был остановлен. Остановить его удалось только силой, так как на требования он не отвечал, а на попытку старшего офицера взять его за руку ответил ударом. Лейтенант Лесовский был связан и помещён в свою каюту под караул. Минные машинисты, бывшие с ним, отпущены без наказания, так как исполняли приказание старшего…»

Потом японский плен. Город Киото, лагерь для офицеров. Освобождение под честное слово не воевать больше против Японии, в августе 1905 года. Возвращение морем, через Шанхай, Коломбо и Порт-Саид, в Одессу. Прибытие в Одессу в октябре, как раз в дни манифеста. Потом ничего.

Через год, в октябре 1906-го, его вызвали свидетелем в военно-морской суд Кронштадта по делу о сдаче отряда адмирала Небогатова. Пометка: «Не явился. Местожительство неизвестно». Вторая повестка, в ноябре. Та же пометка.

Последним оказалось письмо без конверта: лист плотной бумаги, исписанный ровным, твёрдым почерком. Ни помарок, ни завитков.

«Председателю Военно-морского суда Кронштадтского порта.

Вы вызываете меня свидетелем по делу о сдаче кораблей отряда контр-адмирала Небогатова. Я не явлюсь.

Не явлюсь не потому, что боюсь. Мне нечего бояться. Я один из немногих на «Николае», кто не сдавал корабля. Я хотел его взорвать вместе с собой, и мне не дали. Меня связали свои же, связали, как связывают пьяного матроса, и японский лейтенант, вошедший в мою каюту, первым делом развязал мне руки и отдал честь. Я этого не забуду.

Я не явлюсь потому, что не признаю вашего права меня судить. Вы будете судить Небогатова. Небогатов виноват, но он не главный виновник. Главный виновник тот, кто послал старые корыта через полмира на верную смерть, чтобы спасти свою честь. Его вы судить не будете. Его вы не посмеете даже назвать.

Две тысячи человек на «Николае» остались живы. Пять тысяч на других кораблях утонули. Их утопило не японское адмиральство. Их утопило наше. Их утопила та машина, которую вы называете государством и которой вы служите. Я служил ей тоже. Я больше ей не служу.

Корабль сдали вы, господа. Не я. Я сдам вам государство. В свой час.

Бывший лейтенант флота Алексей Лесовский».

Ведерников закрыл папку. Синяя обложка лежала перед ним, а он всё не убирал с неё руки.

Потом снова открыл и стал искать фотографию. В кармашке в конце папки нашлась одна: маленькая, на твёрдом картоне, с золотым тиснением фотографического ателье на Невском. Выпуск Морского корпуса 1894 года. Тридцать молодых людей в мундирах, в три ряда, на ступенях. На обороте, карандашом, кто-то подписал фамилии. Ведерников нашёл шестую в среднем ряду.

Мальчик. Двадцать один год. Худое лицо, ещё без усов. Тёмные волосы, коротко стриженные. Светлые, совсем светлые глаза, которые даже на старой фотографии смотрели прямо в объектив, не мигая, с интересом.

Он осторожно убрал фотографию обратно в кармашек.

— Узнали? — спросил капитан второго ранга. Он всё это время сидел в углу, на табурете, и курил трубку.

— Узнал.

Капитан медленно выдохнул дым.

— Я его тоже знал, ротмистр, — сказал он. — В девятьсот первом он служил у меня на «Петре Великом». Мичманом. Лучший минёр, какого я видел. Я ему говорил: «Лесовский, вы будете адмиралом». А он смеялся. Говорил: «Адмиралом? Чтобы командовать такими, как я? Увольте, господин капитан». — Капитан постучал трубкой о край стола. — Знаете, что я думаю, ротмистр? Если бы Небогатов позволил ему взорвать «Николая», он был бы сейчас героем. Его портрет висел бы в каждой кают-компании. Его именем назвали бы миноносец. А так он…

— Убивает цыган в кафе, — сказал Ведерников.

Капитан ничего не ответил. Курил и смотрел в окно под потолком, на ноги прохожих.

— Не знаю, кого он убивает, — сказал он наконец. — Я только знаю, что из того погреба на «Николае» вышел не тот человек, который туда спустился. Я это видел, ротмистр. На своём корабле, в девятьсот пятом, я видел, как люди менялись за одну ночь. Я сам поменялся. Вот, — он поднял пустой рукав. — Это Цусима. Меня тоже вытащили из воды. Только я не на «Николае» был, на «Суворове». И меня вытащили свои. Повезло.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.